

5-87
— ХУДОЖЕСТВЕННАЯ —
АНТИРЕЛИГИОЗНАЯ БИБЛИОТЕКА
ПОД РЕД. ПРОФ. П.С. КОГАН



ЭМИЛЬ ЗОЛЯ

9
14
Р И М

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ЛКЦ. ИЗД. О-ВО «БЕЗБОЖНИК»
M

190284-1

ЭМИЛЬ ЗОЛЯ

Р И М

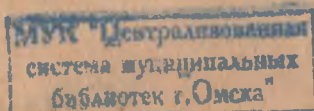
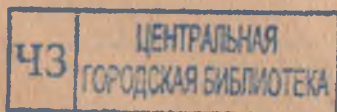
СОКРАЩЕННЫЙ ПЕРЕВОД С ФРАНЦУЗСКОГО

С ПРЕДИСЛОВИЕМ
проф. П. С. КОГАНА

Книга вторая

3-81

ОТПЕЧАТАНО В ТИПОГРАФИИ «ГУДОК»,
МОСКВА, УЛИЦА СТАНКЕВИЧА, 7.
В КОЛИЧЕСТВЕ 12.000 ЭКЗ.
МОСГУБЛИТ № 62012.
ЗАКАЗ № 2484.



190284-1

КНИГА ВТОРАЯ.

I.

Пьер пробыл в Риме уже две недели, но дело, для которого он приехал, — защита его книги, — нисколько не подвигалось вперед. Он попрежнему питал пламенное желание увидиться с папою и все еще не знал, когда и как оно будет удовлетворено, потому что все время возникали замедления, а между тем, монсиньор Нани внушил ему страх испортить дело каким-либо неблагоприятным шагом.

В понедельник он решил пораньше пойти на приемный вечер донны Серафины, в надежде узнать что-нибудь новое и подвинуть вперед свое дело. Может быть там будет монсиньор Нани, а может быть ему удастся встретить какого-нибудь прелата, который поможет ему. Он тщетно пытался извлечь какую-нибудь пользу из дона Виджилио или, по крайней мере, получить от него кое-какие сведения. Высказав одно время, как бы желание оказать услуги Пьеру, секретарь кардинала Бокканера снова почувствовал, повидимому, недоверие и страх; он избегал молодого священника и скрывался, решившись, повидимому, не вмешиваться в это, несомненно, темное и опасное дело. Впрочем у него уже два дня был жестокий приступ лихорадки, который заставлял его не выходить из комнаты.

Некому было ободрить Пьера, кроме Викторины Боскэ, прежней служанки, ставшей домоправительницей, босской уроженки, сохранившей свое сердце старой Франции, несмотря на тридцатилетнее пребывание в Риме, которого она все-таки не знала. Она говорила с Пьером об Оно таким тоном, точно покинула его накануне. Сегодня в ней не было заметно обычной приветливой живости и веселия; узнавши, что Пьер собирается спуститься к дамам, она покачала головой.

— Ах, вы застанете их не особенно довольными. У моей бедной Бенедетты много неприятностей. Кажется, дело с разводом очень плохо.

Весь Рим говорил об этом и сплетни снова начали волновать белый и черный миры. Поэтому Викторине не было надобности скрывать что-либо от соотечественника. Итак, в ответ на записку консistorского адвоката Морано, который, опираясь на свидетельские показания и письменные доказательства, утверждал, что брак не осуществился вследствие бессилия мужа, теолог монсиньор Пальма, избранный соборной конгрегацией для защиты брака, подал поистине страшную записку. Прежде всего, он подвергал в ней

сомнению девственность просительницы, оспаривая технические термины удостоверения, выданного двумя акушерками, и требуя основательного исследования врачей,—формальность, против которой восставала стыдливость молодой женщины; затем он приводил точно установленные физиологические случаи, когда девицы имели сношение с мужчинами и все-таки не теряли невинности. Он опирался на сообщения, заключающиеся в докладной записке графа Прады, который вполне искренно объявлял, что не решается утверждать, был ли брак осуществлен или нет; так как графиня яростно отбивалась; в первую минуту ему казалось, что акт доведен до конца в нормальных условиях, но потом, думая об этом, он решил, что под влиянием страстного желания мог поддаться иллюзии полного обладания, которого не было в действительности. Монсеньор Пальма с торжеством указывал на это сомнение, усугубляя его всеми точными доводами, связанными с этим щекотливым делом, и обратил против подвергнувшейся насилию жены, приведенное ею показание служанки, которая слышала шум борьбы и утверждала, что после этой первой ночи барин и барыня всегда спали отдельно. Решительный аргумент этой записки гласил, что, если даже просительница и может дать полные доказательства своей девственности, то не подлежит сомнению, что осуществлению брачного союза помешало лишь ее сопротивление, а между тем, необходимым условием выполнения акта является повиновение жены. Основываясь на четвертой записке докладчика, в которой он рассматривал и резюмировал три предыдущих, конгрегация признала брак расторгнутым большинством одного голоса; это было такое ненадежное решение, что монсеньор Пальма воспользовался своим правом и немедленно потребовал дополнительных сведений, вследствие чего все дело началось снова и потребовалось новое голосование.

— Ах, моя бедная графинюшка! — воскликнула Викторина: — она умирает от огорчения, потому что, несмотря на спокойный вид, она горит на медленном огне... Кажется, теперь все в руках монсеньора Пальмы, который сможет затянуть это дело, насколько захочет. На него же потрачено столько денег и придется потратить еще... Отцу Пизони, которого вы уже знаете, пришла несчастная мысль, когда он решил устроить этот брак; я не хочу оскорблять памяти моей доброй барыни, графини Эрнесты, которая была святой женщиной, но она, несомненно, сделала свою дочь страдальцей, выдавши ее за графа Прада.

Потом она осторожно рассказала о другом горе, омрачавшем дом и возникшим вследствие этого несчастного дела о разводе. Произошла ссора между донной Серафиной и адвокатом Морано, который был очень недоволен неудачей, постигшей его записку в конгрегации, и обвинял отца Лоренцо, духовника тетки и племянницы, что он убедил их начать неприятный процесс, грозящий скандалом всем. Он не появлялся во дворце Бокканера и этот разрыв старой тридцатилетней связи поразил изумлением все салоны Рима, крайне не одобрявшие поведения Морано. Донна Серафина была тем более оскорблена его поступком, что видела в этой ссоре лишь

благовидный предлог для того, чтобы покинуть ее и совсем по другому поводу, под влиянием тайной страсти, преступной для человека в его положении и при его благочестии, любви, вспыхнувшей в нем к молодой мещаночке-интриганке.

Когда Пьер вошел вечером в гостиную, обтянутую желтым штофом с большими цветами во вкусе Людовика XIV, то он действительно заметил, что в ней царит меланхолия, среди слабого света прикрытых кружевом ламп. Здесь находились лишь Бенедетта и Челия, которые, сидя на диване, болтали с Дарио; а кардинал Сарно, погрузившись в кресло, молча слушал несмолкаемую болтовню старой родственницы, которая приезжала по понедельникам с молодой княжной. Донна Серафина сидела одна на своем обычном месте, справа от камина, с яростью в душе глядя на пустое место слева, которое в течение тридцатилетней верности занимал Морано. Пьер заметил беспокойный и вслед за тем безнадежный взгляд, которым она встретила его приход, все время глядя на дверь и все еще ожидая возвращения ветренника. Она попрежнему держалась прямо и гордо, более чем обыкновенно затянутая в корсет, с суровым лицом старой девы, белыми, как снег, волосами и очень черными бровями.

Засвидетельствовав ей свое почтение, Пьер тотчас обнаружил свои планы, спросивши, не будет ли он иметь удовольствие видеть сегодня монсиньора Нани. Она не могла сдержаться и ответила:

— Монсиньор Нани покидает нас подобно другим. Именно тогда, когда люди становятся нужны, они исчезают.

Она не могла простить прелату того, что он слишком не энергично занимался разводом, хотя обещал очень много. Конечно, как всегда, под его внешней любезностью и ласковостью скрывался какой-нибудь собственный план. Впрочем она быстро пожалела о вырвавшихся у нее в гневе словах и прибавила:

— Может быть, он еще придет; он так добр и так любит нас.

Когда Пьер подошел к дивану, на котором болтали молодые люди, он услышал, что они вполголоса разговаривали о катастрофе.

— Зачем печалиться, — говорила Челия. — Ведь, в конце концов, расторжение брака решено большинством одного голоса. Правда, дело началось снова, но ведь это только продление.

Бенедетта покачала головой.

— Нет, нет. Если монсиньор Пальма заупрямится, то его святейшество никогда не даст своего согласия. Это кончено.

— Ах, если бы мы были богаты, очень богаты, — пробормотал Дарио с таким убеждением, что никто не улыбнулся.

Потом он тихо прибавил, обращаясь к кухне:

— Мне нужно поговорить с тобой, жить так невозможно.

Она ответила едва слышно:

— Приходи завтра вечером в пять часов. Я останусь и буду здесь одна.

Вечер тянулся до бесконечности. Пьер был глубоко тронут угнетенным видом Бенедетты, которая казалась всегда такой спокойной и рассудительной. Ее глубокие глаза среди чистого, нежного, как у ребенка, лица были как бы затуманены сдерживаемыми слезами. Он уже проникся к ней большой нежностью при виде ее ровного, несколько равнодушного настроения и благоразумного вида, под которым скрывалась страсть ее пламенной души. Она все-таки старалась улыбаться, слушая милые признания Челии, любовные дела которой шли гораздо лучше, чем ее собственные. Общий разговор тянулся несколько минут только тогда, когда старая родственница, возвышая голос, заговорила о недостойном отношении итальянской печати к св. отцу. Кажется, никогда еще отношение между Ватиканом и Квириналом не были так дурны. Кардинал Сарно, который обыкновенно хранил молчание, сообщил, что по поводу святотатственного празднования взятия Рима 20-го сентября папа обратился с новым письменным протестом ко всем христианским государствам, которые вследствие своего равнодушия стали сообщниками насилия.

— Да, попробуйте-ка соединить папу с королем, — с горечью сказала донна Серафина, намекая на печальный брак своей племянницы.

Она казалась вне себя; уже было слишком поздно, и нельзя было ожидать прихода монсиньора Нани или кого-нибудь другого. Однако, когда неожиданно послышался шум шагов, глаза ее блеснули и она с страстным ожиданием посмотрела на дверь, но испытала последнее разочарование, увидя Нарсиса Абера, который, войдя, стал извиняться в своем позднем приходе. Кардинал Сарно, его сводный дядя, ввел его в этот замкнутый салон, где его приняли очень хорошо за его непримиримые религиозные убеждения. Впрочем сегодня он забежал сюда, несмотря на поздний час, только для того, чтобы увидеться с Пьером, и тотчас отозвал его в сторону.

— Я был уверен, что застану вас здесь. Сегодня я обедал в посольстве с моим кузеном Гамба-дель-Цоппо и могу сообщить вам хорошую новость... Завтра часов в 11 утра он примет нас в своей квартире в Ватикане.

Потом, понижая голос, он прибавил:

— Я думаю, что он постарается ввести вас к папе... Во всяком случае мне кажется, что ваша аудиенция обеспечена.

Пьера очень обрадовало приятное известие, полученное среди печальной атмосферы этой гостиной, в которой он грустил и терял надежду уже более двух часов. Наконец-то он добьется какого-нибудь решения.

— Не забудьте же, — повторял Пьеру Нарсис, — завтра утром, в десять часов, вы найдете меня в Сикстинской капелле. В ожидании нашего визита я покажу вам Боттичелли.

На другой день Пьер отправился пешком и в половине десятого был на огромной площади. Прежде чем направиться направо, к бронзовой двери в углу колоннады, он поднял глаза и остановил-

ся на несколько минут, чтобы взглянуть на Ватикан. Это нагромождение построек, разросшихся под сенью собора св. Петра, лишенных всякого стиля и правильности, произвело на него далеко не внушительное впечатление. Крыши возвышались одна над другой, широкие и плоские фасады тянулись в беспорядке, по воле случая, сообразно с тем, как к ним без всякой системы пристраивались флигеля.

Охваченный разочарованием, Пьер заинтересовался лишь высоким фасадом справа, выходящим на площадь, на которую, как он знал, открывались окна частных апартаментов папы, расположенных во втором этаже. Он долго всматривался в эти окна. Ему говорили, что пятое из них, считая слева направо, находится и спальне и что в нем постоянно до поздней ночи видна горящая лампа.

Что скрывалось за этой бронзовой дверью, которую он видел перед собой, дверью, служившей священным порогом, сообщением между всеми земными царствами и божьим царством, священный представитель которого обрек себя на заключение в этих высоких немых стенах? Пьер издали рассматривал металлические доски двери, украшенные большими гвоздями с четырехугольными головками, и спрашивал самого себя, что она защищает, что скрывается за ней, что хранит она с суровым видом крепостных ворот? Кких людей найдет он за ней, какие сокровища человеческого милосердия, ревниво охраняемые в тени, какое возрождение надежды для новых народов, алчущих братства и справедливости?

Внезапно Пьер с удивлением увидел перед собой монсеньора Нани, который вышел из Ватикана, направляясь пешком в находящееся в двух шагах отсюда здание священной Инквизиции, где он жил, как ассессор ее.

— Ах, монсеньор, как я счастлив! Мой друг Абер представит меня своему кузену монсеньору Гамба-дель-Цоппо и я уверен, что добьюсь желанной аудиенции.

Монсеньор Нани улыбнулся своей любезной и тонкой улыбкой.

— Да, да, я знаю.

— И затем продолжал:

— Я также рад этому, как и вы, мой дорогой сын! Но только будьте благоразумны.

Потом из опасения, как бы его признание не навело Пьера на мысль, что он только что был у монсеньора Гамба-дель-Цоппо, самого боязлившего прелата из всей папской семьи, он стал рассказывать, что с самого утра хлопочет из-за двух французских дам, которые тоже умирают от желания видеть папу, и очень боится, что старания его не увенчаются успехом.

— Я должен вам признаться, монсеньор, — заявил Пьер, — что я уже начал терять мужество. Да, мне уже пора было найти какую-нибудь поддержку, потому что пребывание здесь далеко не способствует оздоровлению моей души.

Монсиньор Нани слушал его, не переставая улыбаться и одобрительно качая головой. Ну, конечно, так и есть, все должно произойти именно так. Казалось, что он все предвидел и был доволен полученным результатом.

— Одним словом, мой дорогой сын, раз вы уверены, что увидите его святейшество, то все, значит, складывается к лучшему.

Оба они при этом подняли головы и стали смотреть на фасад Ватикана. Любезность Нани дошла до того, что он рассеял заблуждение Пьера. Окно, в котором по вечерам виднелся свет, вовсе не находится в спальне папы, а на площадке одной из лестниц, всю ночь освещенной газовыми рожками. Комната папы расположена в стороне через два окна.

Они снова погрузились в молчание, продолжая с серьезным видом смотреть на фасад.

— Итак, до свидания, мой дорогой сын. Вы расскажете мне о своем свидании, не правда ли?

Очутившись один, Пьер тотчас вошел через бронзовую дверь. Сердце его билось так сильно, как будто он входил в священное и страшное место, где создавалось будущее счастье. Здесь стояла стража: швейцарский гвардеец ходил медленными шагами, завернувшись в голубовато-серый плащ, из-под которого виднелись только его панталоны с черными, желтыми и красными полосами. Казалось, этот скромный плащ наброшен для того, чтобы прикрыть стеснительную странность костюма. Дальше направо виднелась огромная крытая лестница, ведущая во двор св. Дамасия. Для того, чтобы попасть в Сикстинскую капеллу, нужно было идти по длинной галлерее, между двумя рядами колонн, и подняться по Королевской лестнице. И странствуя по этому гигантскому миру, где все отличалось подавляющей величием размеров, Пьер тяжело дышал, поднимаясь по широким ступеням.

Войдя в Сикстинскую капеллу, он прежде всего испытал удивление. Она произвела на него впечатление маленькой, очень высокой прямоугольной залы, с тонкой мраморной перегородкой, разделяющей ее на две неравные части: большую, в которой помещаются пригласенные в дни торжественных церемоний, и хоры, на которых сидят на простых дубовых скамьях кардиналы, а сзади стоят прелаты. На низкой эстраде, справа от алтаря, находится роскошный, но мрачный папский трон. Налево в стене виднеется узкая ложа, в форме мраморного балкона, предназначенная для певцов. Нужно поднять голову, нужно, чтобы взгляд перенесся от огромной картины страшного суда, занимающей всю стену в глубине, до живописи на потолке, доходящей до карниза между двенадцатью светлыми окнами, по шести с каждой стороны, для того, чтобы сразу все расширилось, отодвинулось и унеслось в бесконечность.

К счастью, в капелле было лишь трое или четверо довольно тихих туристов. Пьер тотчас заметил Нарсиса Абера, на одной из кардинальских скамеек, над ступенькой, на которой стоят шлейф-фоносцы. Молодой человек стоял неподвижно, закинув назад

голове, точно в экстазе. Но он смотрел не на произведение Микель Анджело. Глаза его не отрывались от одной из старинных фресок под карнизом. Узнавши священника, он, не сводя глаз, пробормотал:

— О, мой друг, взгляните же на Боттичелли!

И он снова погрузился в восторженное созерцание.

Он не отрывался от Боттичелли, кистью которого здесь написаны три фреска. Наконец, он заговорил почти шопотом:

— Ах! Боттичелли! Боттичелли! изящество и грация страдающей страсти, глубокое чувство печали в самом наслаждении! Вся душа современного человека, предугаданная и выраженная с такой бесподобной прелестью, какой нельзя найти в произведениях какого-либо художника!

Пьер с изумлением всматривался в него и, наконец, решился спросить:

— Вы приходите сюда смотреть Боттичелли?

— Ну, конечно, — спокойно ответил молодой человек. — Я прихожу только ради него каждую неделю и по целым часам смотрю только на него...

Звуки голосов заставили Пьера пробудиться, выйти из созерцания и обернуться; он увидел слугу в черной ливрее, который, передавши несколько слов Нарсису, низко поклонился и ушел.

Молодой человек подошел к священнику с досадой на лице.

— Мой кузен, монсеньор Гамба-дель-Цоппо велел передать мне, что он не может принять нас сегодня утром. Повидимому, он занят каким-то неожиданным поручением.

Но его смущение ясно говорило о том, что он вовсе не верит этой оговорке и подозревает, что его родственник боится скомпрометироваться, что его предупредила и напугала какая-то добрая душа. Так как он был славным и очень обязательным малым, то это очень возмущало его. В конце-концов он улыбнулся и прибавил:

— Знаете ли, у нас, кажется, есть средство проникнуть в запертые двери... Если вы располагаете временем после полудня, то пойдемте вместе завтракать, потом осмотрим музей древностей; в конце-концов я найду своего кузена, не говоря уже о том, что у нас есть некоторая надежда встретить самого папу, если он выйдет в сад.

Сначала Пьер очень огорчился, услышав, что аудиенция снова отложена. Но так как весь день был у него свободен, то он очень охотно принял предложение:

— Вы слишком любезны, я боюсь злоупотреблять вашей добротой... Бесконечно благодарен вам!

Нарсис повел Пьера в галерею Канделябров, которая имеет сто метров в длину, и где находятся очень красивые скульптурные произведения.

— Послушайте, дорогой аббат, теперь еще только четыре часа, и мы присядем здесь, потому что, как мне говорили, святой отец проходит здесь, направляясь в сады... Ведь это было бы по-

истинное счастье, если бы вы могли увидеть его, быть может, разговаривать с ним, кто знает? Во всяком случае вы отдохнете, а то у вас наверно ноги отказываются служить.

Все сторожа хорошо знали его; благодаря родству с маркиз-де-Гамба-дель-Цоппо, перед ним открывались все двери Ватикана, в котором он любил проводить целые дни. Здесь стояли два стула; они расположились на них, и Нарсис тотчас заговорил об искусстве.

Внезапно Пьер был удивлен словами Нарсиса, который, незаметно для него, перешел к рассказу о повседневной жизни Льва XIII.

— Ах, дорогой мой аббат, в восемьдесят четыре года он деятельнее юноши, ведет жизнь полную энергии и труда, какой не захотели бы вести мы с вами... Он встает в шесть часов, служит обедню в своей часовне и завтракает чашкою молока. Потом от восьми часов до полудня непрерывной вереницей приходят к нему кардиналы, прелаты со всевозможными делами конгрегаций, и я ручаюсь вам за то, что трудно представить себе дела более сложные и многочисленные. В полдень чаще всего происходят публичные и коллективные аудиенции. В два часа он обедает. Потом следует вполне заслуженный отдых или прогулка по саду вплоть до шести часов. Затем частные аудиенции нередко отнимают у него час или два. В девять часов он ужинает, при чем ест очень мало, живя почти одним воздухом и всегда одинок за своим маленьким столом... Как вам нравится этикет, требующий от него одиночества? Представьте себе человека, у которого в течение 18 лет не было ни одного сотрапезника, который вечно одинок в своем величии... В десять часов, прочтя молитвы со своими приближенными, он запирается в своей комнате. Но если он и ложится, то спит мало, так как у него часто бывает бессонница; тогда папа встает, зовет секретаря и диктует ему письма и распоряжения. Если его занимает какое-нибудь интересное дело, то он весь отдается ему и постоянно думает о нем. В этом состоит его жизнь, в этом тайна его здоровья: вечно деятельный и стремящийся к работе ум, могучая сила и энергия, жаждущие применения... Вам, конечно, известно, что он долго и с любовью занимался латинской поэзией. Говорят также, что в часы борьбы им овладевала страсть к журналистике, так что некоторые статьи субсидируемых им газет были внушены им, и даже говорят, что он сам продирижировал несколько статей, когда дело касалось самых дорогих его идей.

Воцарилось молчание. Нарсис ежеминутно вытягивал голову среди этой огромной, пустынной и торжественной галлерей Канделабров, наполненной неподвижными мраморными статуями, своею белизною напоминающими привидения, чтобы увидеть, не вышел ли небольшой папский кортеж из галлерей Ковров, направляясь в сады, при чем он должен был пройти мимо них.

— Вы знаете, — снова заговорил он, — что его несут на низком стуле, настолько узком, что он может проходить через все двери. Что это за путешествие! Больше двух километров пути

через дожи, залы Рафаэля, галлерей живописи и скульптуры, не считая многочисленных лестниц. Одним словом, ему приходится совершить целое нескончаемое путешествие прежде, чем его поставят внизу в аллее, где уже ждет коляска, запряженная парой лошадей... Погода сегодня чудная и он наверно придет. Нужно только запастись терпением.

Нарсис решил спросить одного из привратников, который сказал ему, что его святейшество уже сошел в сад. Действительно, очень часто случалось, что для сокращения пути папу несли через маленькую закрытую галлерею, выходящую против Монетного двора.

— Может быть мы тоже сойдем туда, если вам угодно? — спросил он Пьера. — Я постараюсь показать вам сады.

Внизу в вестибюле, одна дверь которого выходила на широкую аллею, он начал разговаривать с другим привратником, отставным солдатом папской армии, которого он знал особенно близко. Последний тотчас пропустил его вместе со спутником, но не мог ответить на вопрос, сопровождает ли сегодня монсиньор Гамба-дель-Цоппо его святейшество.

— Ничего не значит, — продолжал Нарсис, когда они очутились одни в аллее, — я все еще не теряю надежды на счастливую встречу... Вы видите, перед вами знаменитые ватиканские сады. Они очень обширны, папа может делать в них четыре километра по лесным аллеям, а затем через виноградник и огород.

Водя Пьера по этим рощам, Нарсис сообщал ему подробности о жизни св. отца в этих садах. Если погода благоприятная, то он гуляет здесь каждый третий день. Прежде папы уже в мае месяце перебирались из Ватикана в более здоровый и прохладный Квиринал; самые жаркие дни они проводили в Кастель-Гандольфо, на берегу озера Альбано. Теперь единственная летняя резиденция св. отца состоит из башни в древней ограде Льва IV, которая почти вполне сохранилась до нашего времени. В ней он проводит наиболее жаркие дни. Возле нее, по его приказанию, выстроено нечто в роде павильона для помещения свиты, так что он может устроиться здесь на более продолжительное время. Как свой человек, Нарсис не только сам вошел туда, но сумел добиться, чтобы Пьер получил возможность взглянуть на единственную комнату, занимаемую его святейшеством. Это была большая круглая комната с потолком в виде полушария, в котором изображены символические фигуры небесных созвездий, при чем в глазах льва сияют две звезды, при помощи особого устройства горящие по ночам. Толщина стен здесь так велика, что при пробивании окна можно было устроить в пролете нечто в роде комнаты, в которой стоит кровать.

Меблировка состоит из большого письменного стола, маленького переносного обеденного столика, широкого величественного кресла с позолотой, подаренного папе на юбилей назначения его епископом. Невольно думаешь о целых днях одиночества и полного молчания при виде этой низкой, точно тюремной, залы,

прохладной, как могила, в то время, когда удушливая июльская и августовская жара сжигает вдаль умирающий от зноя Рим.

Возвращаясь через рошу, Пьеру снова пришлось испытать изумление. Он увидел миниатюру Лурдской пещеры, сделанную из камня и кусков цемента. Это так взволновало его, что он не мог скрыть своего волнения от спутника.

— Так это правда... Мне говорили об этом, но я представлял себе св. отца более интеллигентным и свободным от низменных предрассудков.

— О,—отвечал Нарсис,—я думаю, что пещера относится ко времени Пия IX, питавшего особенную признательность к лурдской богومатери. Во всяком случае это подарок, который Лев XIII попросту велит поддерживать.

В течение нескольких минут Пьер стоял неподвижно и молча перед воспроизведением Лурда, этой детской игрушки веры. Полные набожного рвения посетители оставили свои визитные карточки, воткнувши их в щели цемента. Ему стало очень грустно и он шел за своим спутником с опущенной головой, погрузившись в грустные размышления о жалкой глупости мира. Но выйдя из роши и очутившись опять перед цветником, Пьер снова поднял голову.

— Однако это очень странно, что мы до сих пор не встретили его святейшества...—заговорил Нарсис.—Вероятно, коляска поехала по другой аллее, когда мы осматривали башню Льва IV.

Он снова заговорил о своем кузене монсиньоре Гамба-дель-Цоппо и стал объяснять, что должность «Сореге», т.-е. папского виночерпия, которую он должен был исполнять, как один из четырех тайных камерариев, стала попросту почетным званием с тех пор, как дипломатические обеды в честь епископского посвящения происходили в помещении секретариата у кардинала государственного секретаря.

Нарсис внезапно остановился.

— Я так и знал... Вот и святой отец... Однако нам не повезло. Он даже не увидит нас, потому что сейчас сядет в коляску.

Действительно, коляска только что подъехала к опушке леса, а маленький кортеж, вышедший из узкой аллеи, направлялся к ней.

Пьер был поражен прямо в сердце. Неподвижно стоя за своим спутником, наполовину спрятавшись за высокой кадкой лимонного дерева, он мог лишь издали увидеть белого старца, который казался таким тщедушным среди волнующихся складок своей белой рясы и шел медленными, точно скользящими по песку, шагами. Он с трудом мог рассмотреть худое лицо, словно выточенное из прозрачной слоновой кости, с большим носом над тонкими губами. Но в очень черных глазах сверкала улыбка любопытства, а ухо наклонялось направо, в сторону монсиньора Гамба-дель-Цоппо, — толстенного человечка маленького роста с цветущим и полным достоинства видом, который оканчивал, повидимому,

какой-то рассказ. С левой стороны шел офицер дворянской гвардии, а сзади два прелата.

Это было самое обычное явление. Вскоре Лев XIII уже сидел в закрытую коляску. Среди этого большого и пылающего сада к Пьеру вернулось то особенное волнение, которое он испытал в галлерее Канделябров, представляя себе шествие папского кортежа среди Аполлонов и Венер, торжественно выставляющих напоказ свою наготу. Там было языческое искусство, торжествующая вечность жизни, горделивые и всемогущие силы природы. Здесь же он увидел его, окруженным самой природой, еще более прекрасной и страстной. Ах, этот папа, этот белый старец, служитель бога, полный скорби, смирения и самоотречения, гуляющий по этим дышащим любовью садам в томный вечер знойного летнего дня, среди ласкающих благоуханий пиний и эвкалиптов, зрелых апельсинов и высокого букса. Бог Пан окружал его властными испарениями своей мужественности. Как приятно жить здесь среди этого великолепия неба и земли, любить женскую красоту и наслаждаться ею среди царствующего кругом плодородия. Внезапно в душе Пьера мелькнула мысль, что в этой стране света и радости могла родиться лишь земная религия завоевания и политического господства, а не мистическая и страждущая северная религия, религия духа.

Нарсис увел молодого священника, рассказывая ему о добродушии Льва XIII, который нередко останавливался поболтать с садовниками, расспрашивая их о здоровье деревьев, о продаже апельсинов; рассказал Пьеру о привязанности папы к двум газелям, присланным ему в подарок из Африки; это были хорошенькие, нежные животные, которых он любил ласкать и смерть которых оплакивал. Но Пьер уже не слушал и, когда они снова очутились на площади св. Петра, он обернулся и еще раз взглянул на Ватикан.

Взгляд его упал на бронзовую дверь, и он вспомнил, как сегодня утром спрашивал себя, что может скрываться за этими металлическими створками, обитыми большими гвоздями с квадратными головками. И он еще не смел дать ответа на этот вопрос, не смел решить, найдут ли там новые народы, жаждущие братства и справедливости, новую, чаемую демократией, религию; потому что он вынес отсюда лишь первое впечатление.

Когда они очутились на площади св. Петра, солнце уже опускалось, прозрачное небо дышало какой-то особенной, свойственной Риму, негой, и молодой священник чувствовал себя растерянным после этого прекрасного дня, проведенного в обществе Микель Анджелло и Рафаэля, всех дрезностей и попы в величайшем дворце мира.

— Простите меня, дорогой аббат... — закончил Нарсис. — Я должен вам сознаться, что подозреваю моего доброго кузена в божии скомпрометировать себя, впутавшись в ваше дело... Я еще посмотрю, но вы хорошо сделаете, если не будете слишком много рассчитывать на него.

Было около шести часов вечера, когда Пьер вернулся во дворец Бокканера. По обыкновению, он скромно вошел со стороны переуллка, через небольшую лестницу, от которой у него был ключ. Утром он получил письмо от виконта Филибера де-ла-Шу и хотел сообщить его содержание Бенедетте. Поэтому он поднялся по парадной лестнице и с удивлением увидел, что в передней никого нет. В те дни, когда Джакомо уходил, Викторина располагалась там, со свойственным ей добродушным видом, занимаясь каким-нибудь рукоделием. Стул ее стоял там, Пьер увидел даже на столе оставленную ею материю; так как ее не было, то он решился проникнуть в первую гостиную. Там было почти совершенно темно; сумерки гасли, кротко умирая. Священник остановился пораженный, не смея сделать шага вперед: до ушей его долетел из соседней комнаты, большой, желтой гостиной, шум взволнованных голосов, шорох, возня и как-будто борьба. Он услышал пыльную мольбу, потом страстный ропот. Теперь уже у него не было сомнений, и он невольно бросился туда, уверенный, что в этой комнате кто-то защищается и изнемогает в борьбе.

Бросившись в гостиную, он остановился от изумления. Там был Дарио, точно обезумевший, охваченный диким желанием, в котором сказывалась необузданная кровь Бокканера, истощенная приближающейся гибелью расы; он держал Бенедетту за плечи и, опрокинув на диван, старался овладеть ею, обжигая ей лицо своими страстными словами.

— Ради бога, дорогая... Ради бога, если ты не хочешь, чтобы я умер и ты умерла тоже... Ведь ты же сама говоришь, ведь это уже кончено, этот брак никогда не будет уничтожен, зачем же нам долее быть несчастными? Люби меня так, как ты любишь, и дай мне любить тебя, дай мне любить тебя...

Бенедетта плакала, лицо ее выражало бесконечную нежность и страдание, но она отталкивала его обеими руками и с дикой энергией повторяла:

— Нет, нет! Я люблю тебя!.. я не хочу, я не хочу!

В эту минуту, несмотря на иступленный ропот, Дарио почувствовал, что кто-то вошел. Он быстро вскочил на ноги, посмотрел на Пьера тупым, безумным взглядом, даже не узнавая его. Потом он провел руками по лицу, с которого лился пот, и по налившимся кровью глазам и убежал, испустив страшный скорбный вздох, в котором чувствовалось подавленное желание, борющееся со слезами и раскаянием.

Бенедетта продолжала сидеть на диване, еле дыша от усталости и отчаяния. Увидев движение Пьера, который повернулся, чтобы уходить, смущенный своей ролью и не находя ни одного слова, она стала умолять его поемному успокаивающимся голосом.

— Нет, нет, господин аббат, не уходите... Пожалуйста, садитесь, я хочу немного поговорить с вами.

Пьер все же счел нужным извиниться в своем внезапном появлении и объяснил, что дверь первой гостиной была приоткрыта

и что в передней он нашел лишь работу Викторины, оставленную на столе.

— Действительно, — вскричала контессина, — Викторина должна была быть там, я видела ее недавно. Я позвала ее, когда мой бедный Дарио начал терять голову... Почему же она не прибежала?

Потом, чувствуя потребность в откровенности, она наклонилась свое еще горящее от борьбы лицо и заговорила:

— Послушайте, господин аббат, я расскажу вам все, потому что не хочу, чтобы у вас возникло слишком дурное мнение о моем бедном Дарио. Это было бы очень неприятно для меня... Видите ли, все это случилось по моей вине. Вчера вечером он просил устроить свидание здесь, чтобы мы могли спокойно поболтать; так как я знала, что в этот час моей тетки не будет дома, то я сказала ему, чтобы он пришел... Это было вполне естественное желание, не правда ли? Видеться и поговорить друг с другом после той большой неприятности, которую мы получили при известии, что мой брак не будет, вероятно, никогда уничтожен. Мы страдаем слишком сильно, нужно было на что-нибудь решиться... Когда он пришел сюда, мы начали плакать и долго сидели обнявшись, лаская друг друга и смешивая свои слезы. Я целовала его сотни раз, повторяя, что я обожаю его, что я в отчаянии от его несчастья, что я умираю от страдания, видя его несчастным. Может быть это внушило ему надежду, впрочем он ведь не ангел и мне не следовало бы так долго прижимать его к сердцу... Вы понимаете, батюшка, в конце-концов он стал точно безумный и захотел того, что я поклялась перед мадонной не позволять никому, кроме моего мужа.

Теперь Пьер почувствовал, что личность молодого князя, которая до сих пор была для него очень неясна, стала ему вполне понятна. Несмотря на то, что он умирал от любви к своей кузине, он все-таки искал развлечений. Он был в глубине души совершенным эгоистом, но при этом очень милым малым. В особенности он отличался совершенной неспособностью к страданию: всякое страдание, безобразие и бедность как других, так и его собственные возбуждали в нем ужас. Тело и душа его были созданы для радости, внешнего блеска, жизни на ярком солнце. Истощенный и утомленный, не чувствуя сил ни для чего более, кроме праздной жизни, он до такой степени не умел думать и хотеть, что мысль о примирении с новым правительством ни разу не пришла ему в голову. При этом чрезмерная гордость римлянина, леность, смешанная с проницательностью, с практическим пониманием действительности и бывшая всегда настороже. Под кроткой и замирающей прелестью его расы жила постоянная потребность в женщине, просыпались порывы безумного желания и прорывалась лютая чувственность.

— Мой бедный Дарио! Пусть он идет к другой, я разрешаю ему это... — прибавила очень тихо Бенедетта со своей очарова-

тельной улыбкой. — Не правда ли? Не следует требовать невозможного от человека, и я не хочу, чтобы он умер от этого.

Когда Пьер смотрел на нее, не умея примирить ее слов с представлением об итальянской ревности, она вскричала, вся горя страстной любовью:

— Нет, нет, я не ревную по этому поводу. Это доставляет ему удовольствие и не мучит меня. Я знаю очень хорошо, что он вернется ко мне, что он будет принадлежать мне, мне одной, когда я захочу, когда у меня будет возможность.

Наступило молчание; гостиную наполняла тьма, золото конисов стало потухать, безбрежной меланхолией веяло от высокого темного потолка и старых желтых обоев цвета осени.

Священник, продолжая думать, сказал вслух:

— Искушение сильнее нас: придет минута, когда силы ослабеют и даже теперь, если бы я не вошел...

Бенедетта резко перебила его.

— Я, я... Ах! Вы не знаете меня. Я скорее умерла бы.

И в необычайном порыве набожности, вся охваченная любовью, как-будто суеверная вера довела ее чувство до экстаза, она продолжала:

— Я поклялась мадонне отдать мою девственность человеку, которого я полюблю, только в тот день, когда он станет моим мужем; за эту клятву я готова заплатить своим счастьем и даже своей жизнью... Да, если нужно, я и Дарио умрем, но я дала слово святой деве, и ангелы не будут плакать на небесах.

В этих словах была вся ее душа, полная простоты, которая сначала могла показаться сложной, даже необъяснимой. Она, конечно, находилась под влиянием того особенного представления о человеческом благородстве, которое христианство видело в отречении и чистоте, в протесте против вечной материи и бесконечной плодовитости жизни.

Пьер смотрел на нее в полусвете гаснущих сумерек, и ему казалось, что он видит и понимает ее в первый раз. Двойственность ее характера сказывалась в выдающихся чувственных губах, больших, бесконечно глубоких глазах и в спокойном рассудительном нежном, точно у ребенка, лице. При этом за этими пламенными глазами, под этой девственно-чистой кожей чувствовалась постоянная напряженность суеверной, гордой и своевольной женщины, упорно сохраняющей себя для своей любви, действующей так, чтобы наслаждаться, но и в то же время постоянно готовой, несмотря на свое осторожное благоразумие, на какую-нибудь безумную вспышку любви. Как хорошо понимал Пьер, что ее можно любить, как ясю чувствовал он, что такое очаровательное существо, со свойственной ему восхитительной искренностью и страстным стремлением сохранить себя для того, чтобы лучше отдалась, может наполнить целую жизнь мужчины!

В порыве симпатии Бенедетта заговорила, схватив Пьера за руки:

— Господин аббат! Не прошло и двух недель с тех пор, как мы приехали к нам, а я уже полюбила вас, потому что чувствую к вам друга. Если вы не можете понять нас с первого взгляда, то не судите о нас дурно. Клянусь вам, что несмотря на мое невежество, я всегда стараюсь действовать как можно лучше.

Он был бесконечно тронут ее ласковостью и поблагодарил ее, некоторое время не выпуская ее прекрасных рук, потому что и он почувствовал к ней большую нежность. Душой его снова оплела мечта стать ее воспитателем, — по крайней мере, не усаживать, не вдохновив ее своими мыслями о будущем братстве и милосердии.

Наступила совершенная ночь, и Бенедетта встала, чтобы показать принести лампу. Потом, когда Пьер прощался, она задержала его еще на минуту в полумраке. Он не видел ее, но лишь слышал, как она серьезным голосом повторяла:

— Не правда ли, вы не уйдете отсюда с слишком дурным мнением о нас? Дарю и я любим друг друга и при благоразумии в этом нет греха... Ах! я люблю его и так долго... Представьте себе, мне не было еще тринадцати лет, а ему было восемнадцать; мы любили друг друга, как безумные, в этом разоренном теперь саду виллы Монтефиори... Ах, эти дни, которые мы провели там, скрываясь среди деревьев все послеобеденное время, эти часы, которые мы прожили в укромных, недоступных для глаза уголках, целуясь, точно херувимы. Когда начинали зреть апельсины, аромат их опьянял нас. А высокие буксы! Боже мой! как закрывали они нас, как могучий аромат их заставлял биться сердце. У меня и теперь еще начинает кружиться голова, как только я слышу их запах.

Джиакомо принес лампу, а Пьер вернулся к себе и на узкой лестнице встретил Викторину, которая слегка вздрогнула, увидев его, точно стояла здесь, поджидая, когда он выйдет из гостиной. Она пошла вслед за ним, разговаривая и расспрашивая его. Пьеру стало внезапно совершенно ясно все случившееся.

— Почему вы не пришли, когда графиня звала вас? Ведь вы были в это время в передней и занимались шитьем?

Сначала она хотела притвориться изумленной, сказать, что она ничего не слышала. Но ее доброе, искреннее лицо не умело лгать и улыбалось. В конце-концов она с веселым видом созналась.

— Ну что мне за дело мешать влюбленным? И потом я была спокойна, я знаю хорошо, что князь очень любит мою маленькую Бенедетту и не может сделать ей зла.

На самом деле, поняв в чем дело, при первом жалобном крике, она тихо положила свое рукоделие на стол и ушла неслышными шагами, чтобы не мешать своим дорогим детям, как она их называла.

— Ах, бедная малютка! — закончила она, — напрасно мучит она себя своими идеями из другого мира. Если они любят друг друга, то, боже мой, что же тут дурного, если они испытают немного

счастья? Жизнь не особенно весела. А как они будут жалеть потом, когда пройдет время!

Оставшись один в своей комнате, Пьер почувствовал, что он шатается, что голова его идет кругом. Высокие буксы! высокие буксы! Так же, как и он, она трепетала, чувствуя их резкий мужественный запах. И ему вспомнились буксы папских садов, сладострастных римских садов, пустынных и пылающих под лучами царственного солнца. Все прожитое им за этот день резюмировалось, значение его выяснилось. Это пробуждение плодovitости, вечный протест природы и жизни, Венера и Гераклес, которых можно зарыть в землю, но которые все-таки встанут оттуда в один прекрасный день, которых можно замуровать в глубине властного, неподвижного и упрямого Ватикана, но которые царствуют даже там и властно правят миром.

На другой день, когда Пьер после продолжительной прогулки очутился перед Ватиканом, к которому его влекла какая-то неотвязчивая мысль, он снова встретил монсиньора Нани. Это было в среду вечером, и ассессор святой Инквизиции возвращался со своей еженедельной аудиенции у папы, которому он докладывал об утреннем заседании конгрегации.

— Какая счастливая случайность, мой дорогой сын! Я как раз думал о вас... Хотите ли вы видеть его святейшество публично перед тем, как увидеть его на частной аудиенции?

Он говорил это со своим обычным, величественным улыбающимся и обязательным видом, в котором чувствовалась легкая ирония человека высшего полета, который все знает, все может и все подготавливает.

— Конечно, монсиньор! — ответил Пьер, немного удивленный неожиданностью этого предложения. — Всякое развлечение очень желательно, когда приходится тратить время на ожидания.

— Нет, нет, вы не теряете времени! — живо возразил прелаг. — Вы смотрите, размышляете, учитесь... Дело вот в чем. Вы, без сомнения, знаете, что международные паломники динария св. Петра приедут в пятницу в Рим и будут приняты его святейшеством в субботу. На следующий день, в воскресенье, состоится другая церемония. Его святейшество будет служить обедню в соборе... Ну, так вот у меня остается еще несколько билетов, очень хорошие места на эти два дня.

Он вынул из кармана маленький изящный бумажник с золотой монограммой и, вынув два билета, розовый и зеленый, передал их молодому священнику.

— Ах, если бы вы знали, как их добиваются. Вы помните этих двух французских дам, которые умирают от желания видеть св. отца. Я не хотел особенно настаивать на том, чтобы им была дана аудиенция, и им тоже пришлось удовольствоваться такими же билетами, которые я дал вам... Да, святой отец немного устал. Я нашел его пожелтевшим и расстроенным. Но у него столько мужества, он живет только силой духа.

На лице его снова появилась улыбка с оттенком едва заметной насмешки.

— Это очень хороший пример для нетерпеливых, мой дорогой сын... Я узнал, что добрейший монсеньор Гамба-дель-Цюппо не мог ничего сделать для вас. Не следует чрезмерно огорчаться этим. Позвольте мне еще раз повторить вам, что это долгое ожидание есть несомненная милость провидения, которое поучает нас, заставляя понять все то, что вы, французские священники, к сожалению, не чувствуете, когда приезжаете в Рим. Быть может это даст вам возможность избежать заблуждений... Успокойтесь, подумайте о том, что все в руке божией и совершится в час, назначенный верховной мудростью.

Он протянул свою красивую, гибкую, мягкую и нежную, как у женщины, руку, пожатие которой было, однако, так сильно, как железные тиски, и сел в ожидающую его карету.

Письмо, полученное Пьером от виконта Филибера де-ла-Шу, было полно досады и отчаяния по поводу международного паломничества динария св. Петра. Он писал, лежа в кровати, прикованный к ней мучительным припадком подагры и не имея возможности приехать в Рим. Но, конечно, больше всего страданий причиняло ему то обстоятельство, что председателем комитета, призванным представить паломников папе, был барон Фура, один из злейших его противников, приверженец старой консервативной католической партии. Он не сомневался ни на минуту, что барон воспользуется этим редким случаем для того, чтобы убедить папу в превосходстве своих теорий о свободных корпорациях, в то время как он, де-ла-Шу, видел спасение католицизма и всего мира лишь в замкнутых, обязательных корпорациях. Поэтому он умолял Пьера ходатайствовать перед благосклонно расположенными кардиналами непременно добиться аудиенции у св. отца и не покидать Рима без его верховного одобрения, потому что оно одно могло склонить победу на их сторону. В письме, кроме того, сообщались интересные подробности относительно паломничества. Паломников было три тысячи. Епископы и начальники конгрегаций привозили их маленькими группами из всех стран: из Франции, Бельгии, Испании, Австро-Венгрии и даже Германии. Представителей Франции было больше всего, а именно около двух тысяч паломников. Международный комитет, учрежденный в Париже, занимался организацией этого щекотливого дела, потому что в нем умышленно были замешаны самые разнообразные элементы: представители аристократии, братства буржуазных дам и рабочие ассоциации — одним словом, смесь всех классов, возрастов и полов, объединенных единой верой. Виконт прибавлял, что паломники, везущие папе миллионы денег, избрали день своего прибытия с таким расчетом, чтобы выразить протест всего католического мира против празднеств 20 сентября, которыми Квиринал праздновал славную годовщину провозглашения Рима столицей.

Пьер был уверен, что достаточно будет притти к одиннадцати часам, если церемония начнется в полдень. Она должна была со-

стояться в большой и красивой зале Беатификации, расположенной над портиком собора и превращенной в часовню в 1890 году.

Зала Беатификации была очень роскошно отделана, позолочена и расписана, с высоким потолком строгого стиля. Перед входом, на месте алтаря, на низкой эстраде помещался папский трон — большое кресло, обитое красным бархатом, сверкающее позолотой спинок и ручек; такая же бархатная драпировка балдахина ниспадала на землю, точно два широкие пурпурные крыла. Но больше всего интересовала и поражала Пьера толпа, полная никогда невиданной им, неудержимой страсти. Он слышал, как лихорадочно бились их сердца, видел, как глаза, успокаивая лихорадочное нетерпение ожидания, устремлялись с благоговением на пустой трон. Ах, этот трон. Он волновал до потери сознания эти набожные души, точно так же, как золотой потир, в котором должен был поместиться бог во плоти. Здесь были и по праздничному разодетые рабочие с ясными детскими глазами, с выражением восторга на грубых лицах, и буржуазные дамы, одетые в черные платья, согласно этикету, бледные от священного ужаса и страстного желания, и мужчины во фраках и белых галстуках, полные гордого сознания, что они спасают церковь и народ. Одна группа черных фраков особенно выделялась перед троном: это были члены международного комитета; во главе их красовался барон де-Фура, человек лет пятидесяти, очень высокий, очень полный и очень светлый блондин, который все время суетился, хлопотал и отдавал приказания, точно полководец перед решительной победой. Затем, среди серой бесцветной массы одежд то здесь, то там виднелось сине-фиолетовое одеяние епископа, так как каждый пастырь хотел остаться со своей паствой; а монахи, настоятели в коричневых, черных и белых рясах господствовали над толпой своими бородами или бритыми лицами. Справа и слева колыхались хоругви, принесенные в дар папе ассоциациями и корпорациями. Волна голов все прибывала и шумела точно море; нетерпеливою любовью веяло от потных лиц, пылающих глаз и жадно открытых ртов, наполняя своими испарениями сгустившийся и потемневший воздух, среди тяжелого запаха скученной толпы.

Внезапно Пьер увидел около трона монсиньора Нани, который, узнавши его издали, делал ему знаки приблизиться. Пьер отвечал скромным жестом, желая дать понять, что он предпочитает остаться на прежнем месте, но прелат заупрямился и послал швейцара с приказанием очистить ему дорогу. Когда последний привел к нему Пьера, Нани спросил:

— Почему вы не пришли занять свое место? Ваш билет дает вам право быть здесь, около трона.

— Но для этого, — ответил священник, — нужно было беспокоить столько народа, что я предпочел остаться. Кроме того, это будет слишком много чести для меня.

— Нет, нет, я дал вам это место, чтобы вы заняли его. Я хочу, чтобы вы были в первом ряду, хорошо видели все и не упустили ни одной подробности церемонии.

Пьеру осталось только поблагодарить его. Теперь он увидел, что многие кардиналы и прелаты также ожидают по обеим сторонам трона. Тщетно искал он кардинала Бокканера, который бывал в соборе и в Ватикане только в те дни, когда его обязывала к этому служба. Но он вскоре узнал широкого и плотного кардинала Сангинетти с красным лицом, который очень громко беседовал с бароном Фура. Монсиньор Нани на минуту подошел к Пьеру со своим снисходительным видом, чтобы показать ему двух других кардиналов, очень важных и влиятельных людей: кардинала-викария, большого толстого человека, с нервным, честолюбивым лицом, и здорового, костлявого, точно вытесанного топором, кардинала-секретаря, — романтический тип сицилийского бандита, решившегося взять на себя скромную роль духовного дипломата. В нескольких шагах от них стоял одиноко великий исповедник с молчаливым и страждующим лицом, с серым и худым аскетическим профилем.

Пробило полдень. Радость и волнение глубокой волной проникли из соседних зал. Но это были еще только пристава, расталкивающие толпу для того, чтобы дать проход шествию. Вдруг в конце первой залы послышались восклицания и стали приближаться все ближе и ближе. На этот раз это был кортеж. Сначала шел отряд швейцарской гвардии в простых мундирах с сержантом во главе; потом носильщики в красных одеждах, потом придворные прелаты и среди них четыре камерария. Наконец, между двумя взводами дворьянской гвардии в полупарадной одежде шел св. отец, бледно улыбаясь и медленно благославляя направо и налево. Вместе с ним в залу Беатификации проникли из соседних зал крики страстной, доходящей до безумия любви; под этой бледной благославляющей рукой все в волнении упали на колени; теперь кругом виднелась лишь падающая ниц, точно пораженная появлением бога, толпа.

Охваченный волнением, Пьер трепетно упал на колени вместе с другими. Ах! Это всемогущество, это непобедимая заразительность веры, страшное дыхание загробного мира, удесятиряющее свою власть благодаря обстановке и величественной пышности. Потом, когда Лев XIII уселся на троне, окруженный кардиналами и двором, в зале воцарилось гробовое молчание и началась церемония, согласно обычаям и обрядам. Сначала какой-то епископ, стоя на коленях, говорил, повергая к стопам его святейшества благоговейные чувства верующих всего христианского мира. Потом его сменил председатель комитета барон Фура и стоя прочел длинную речь, в которой представлял папе паломников, объяснял их намерения, придавая их прибытию торжественный характер политического и религиозного протеста. Этот крупный мужчина обладал тонким, пронзительным голосом, произнося слова — голос его скрипел точно буравчик. Он говорил о скорби католического мира по поводу тех захватов, которые пришлось испытать св. престолу четверть века тому назад, о желании всех народов, представителями которых

являются паломники, утешить обожаемого верховного главу церкви, принося ему дань богатых и бедных, долю самых смиренных, чтобы папы могли жить гордо и независимо, презирая своих противников. Он говорил также и о Франции, распространяясь о ее заблуждениях, предсказал скорое возвращение ее к здоровым преданиям, с гордостью провозгласил, что она наиболее богатая и благородная страна, что золото и подарки ее текут в Рим непрерывным потоком. Наконец, встал Лев XIII и ответил епископу и барону. У него был низкий, носовой голос, который поражал при виде его тщедушного телосложения. В нескольких фразах он выразил свою благодарность, сказал, как тронuto его сердце преданностью наций папскому престолу. Как бы ни были тяжки времена, окончательное торжество не замедлит своим наступлением. Очевидные признаки доказывают, что народ возвращается к вере, что несправедливости скоро прекратятся, когда во всем мире воцарится христос. Что касается Франции, то разве она не была старшей дочерью церкви и не дала святому престолу доказательства любви? Он никогда не может перестать любить ее. Потом, подняв руку, он дал апостольское благословение всем присутствующим паломникам, их семьям и друзьям Франции и всем католическим народам, благодаря их за оказанную ими драгоценную помощь. Когда он уселся, послышались рукоплескания, неистовые взрывы которых продолжались десять минут, смешиваясь с кликами, нечленораздельными восклицаниями, — целая буря, от которой дрожала зала.

Во время этих взрывов бурного обожания Пьер смотрел на Льва XIII, неподвижно сидящего на троне. В папской тиаре, с наброшенной на плечи красной, отороченной горностаем мантией, он сел в своей длинной белой рясе, сохраняя в своей позе гиратическую неподвижность идола, пред которым преклоняются двести пятьдесят миллионов католиков. Он был полон истинного величия на пурпурном фоне занавесей балдахина, между крыльями драпировки, где точно сверкало сияние славы. Это не был уже немощный старец, идущий мелкими неровными шагами, с тонкой шеей больной птички. Худоба лица, слишком большой нос — все это исчезло. На этом восковом лице виднелись только чудные черные глаза, полные вечной юности, ума и необычайного проникновения. Это был какой-то намеренный подъем всей личности, сознание олицетворяемой им вечности, царственное благородство, сообщаемое ему благодаря тому, что он был лишь дуновением, чистой душой в теле из слоновой кости, настолько прозрачным, что сквозь него как-будто виднелась эта душа, освобожденная от земных уз. Теперь Пьер понял, какое значение имеет такой человек, верховный первосвященник, король, царствующий над двумястами пятьюдесятью миллионами подданных, для набожных смиренных созданий, которые издалека пришли поклониться ему, пораженные у ног его сиянием олицетворяемого им могущества. Какой неожиданный переход в иной мир, какая бесконечность идеала и ослепляющей славы виднелись за ним, на пурпурном фоне занавесей. В одном

человеке, единственном сверхчеловеческом избраннике, совокуплялось столько веков истории от времен апостола Петра, столько силы, гения, борьбы и побед. Это — вечно повторяющееся чудо: небо, сходящее на человеческое тело, бог, поселяющийся в служителе, которого он избрал и поставил в особое положение, выше бесчисленной массы остальных людей, сообщая ему всю власть и все знание. Какой священный трепет, какое волнение безумной нежности овладевает людьми при виде этого бога в человеческом теле, непрерывно живущего там, в глубине его глаз, говорящего его голосом, проявляющегося в его благославляющих жестах. Можно ли представить себе чудовищную абсолютную власть этого непогрешимого монарха, олицетворяющего полный авторитет на земле и спасение в загробном мире, этого бога, видимого на земле. Как понятно становилось стремление к нему всех душ, пожираемых потребностью веры, смиренное самоотречение этих людей, которые нанесли, наконец, долго отыскиваемую достоверность и утешение в том, что они могут отдаться самому богу и исчезнуть в нем.

Но церемония уже приходила к концу, и барон Фура представлял св. отцу членов комитета, а также некоторых, наиболее важных паломников. Это было медленное дефилирование, трепетные коленопреклонения, жадное целование туфли и перстня. Потом папе были поднесены хоругви, и у Пьера сжалось сердце, когда он увидел, что самая красивая и богатая хоругвь — из Лурда, поднесенная, несомненно, отцами непорочного зачатия. На белом шелке с золотой каймой с одной стороны была нарисована лурдская богородица, с другой — портрет Льва XIII. Пьер увидел, как он улыбнулся, глядя на свой портрет, и ему стало очень грустно, точно в душе его погибла мечта об умном евангельском папе, свободном от низких суеверий. В этот момент он снова встретил взгляд монсиньора Нани, который не спускал с него глаз с самого начала торжества, изучая все полученные им самые мелкие впечатления, со своим любознательным видом человека, занятого опытом.

Он подошел к нему и сказал:

— Эта хоругвь великолепна и какое удовольствие для святого отца быть так хорошо нарисованным в обществе этой прелестной святой девы.

Затем, так как молодой священник побледнел и не отвечал ничего, он прибавил с выражением набожной чисто-итальянской радости:

— Мы очень любим в Риме Лурд... эта история Бернадетты так очаровательна.

То, что произошло вслед за тем, было настолько необычайно, что Пьер почувствовал глубокое волнение. Ему приходилось видеть в Лурде зрелища такого идолопоклонства, сцены такой наивной веры, такой отчаянной религиозной страсти, что он не мог забыть их, и до сих пор при одном воспоминании вздрагивал от беспокойства и скорби. Но толпа, бросающаяся к гроту, больные, умирающие от любви перед статуей девы, целая толпа, безумствующая под

влиянием чудес, — все это было ничто по сравнению с тем припадком безумия, который овладел паломниками у ног папы. Епископы, начальники конгрегаций и всевозможные делегаты приблизились, чтобы повергнуть возле трона приношения всего католического мира, всемирный сбор лепты св. Петра. Это была добровольная подать, которую народ платил своему повелителю серебром, золотом, банковыми билетами, в кошельках, сумках и бумажниках. Потом прошли дамы, которые, упавши на колени, протягивали шелковые и бархатные мешочки, вышитые собственными руками. Другие украсили бумажники бриллиантовой монограммой Льва XIII. Возбуждение, наконец, дошло до того, что женщины стали срывать с себя кошельки и бросать даже ту мелочь, которая была при них. Одна очень красивая, стройная, темная брюнетка высокого роста сорвала с шеи часы, сняла кольца и бросила все это на ковер эстрады. Все они готовы были рвать на себе тело, чтобы вынуть из него пылающее любовью сердце и бросить его, а также броситься самим. Это был целый дождь подарков, полная жертва всего, проявление страсти, отнимающей у себя все для предмета своего обожания и радующейся тому, что все, принадлежащее ей, принадлежит и ему. И все это происходило среди все растущего крика, повторяющихся восклицаний, резких выражений обожания, среди все большей толкотни, так как всеми овладела непреодолимая потребность поцеловать идола.

Но вот был подан сигнал, и Лев XIII поспешил сойти с трона и снова занять место в кортеже, чтобы вернуться в свои апартаменты. Швейцарские гвардейцы энергично сдерживали толпу, стараясь очистить проход через три залы. Но при виде ухода св. отца ропот отчаяния стал сильнее, точно небо внезапно закрылось перед теми, которые еще не успели приблизиться к нему. Какое ужасное разочарование видеть бога на земле и потерять его прежде, чем удалось получить спасение одним прикосновением к нему. Началась такая толкотня и воцарился такой беспорядок, что швейцарская гвардия была точно сметена. Тогда Пьер увидел женщин, которые бросались вслед за папой, ползали на четвереньках по мраморным ступенькам, целуя его следы, жадно вдыхая прах его ног. Высокая брюнетка свалилась с ног на краю эстрады и упала в обморок, испутив отчаянный крик; двое мужчин, члены комитета, держали ее, чтобы она не причинила себе какого-нибудь вреда в нервном припадке, овладевшем ею. Другая, высокая блондинка, яростно ловила губами позолоченную ручку кресла, на которой только что покоился хрупкий локоть старца. Другие заметили это и стали отнимать у нее кресло, схватились за ручки и бархат, прижав губы к материи и дереву, вздрагивая всем телом от рыданий. Пришлось употребить силу для того, чтобы оттащить их от него.

Когда это кончилось, Пьер точно очнулся от тяжелого кошмара, чувствуя, что сердце его возмущено и разум протестует. И теперь он снова почувствовал на себе взгляд монсиньора Нани, не спускавшего с него глаз.

— Великолепная церемония, не правда ли? — сказал прелат. — Это может служить утешением во многом.

— Да, конечно, но какое идолопоклонство! — пробормотал молодой священник, не будучи в состоянии сдержаться.

Монсеньор Нани ограничился улыбкой и не обратил внимания на это слово, точно совсем не слышал его.

Двигаясь среди медленно уходящей толпы, Пьер почувствовал прикосновение к плечу и увидел Нарсиса Абера, который тоже был в восторге.

— Я делал вам знаки, дорогой аббат, но вы не видели меня.. Ну что. Как вам нравится эта брюнетка, которая упала без чувств расставив руки: сколько в ней удивительной экспрессии. А другие, например, те, которые пожирали поцелуями ручки кресла, сколько нежности, красоты и любви было в этой группе... Я никогда не пропускаю этих церемоний, — во время их всегда видишь трогательные сцены.

Медленно катилась огромная волна паломников, спускаясь по лестнице, все еще охваченная трепетом лихорадочного возбуждения. Пьер, за которым следовали, разговаривая, монсеньор Нани и Нарсис, размышлял, разбираясь в хаосе мнений, волнующих его ум. Ах, конечно, это величественно и красиво, этот папа, замуровавший себя в глубине Ватикана и возбуждавший у людей все больший священный ужас по мере того как он исчезал от них, становился чистым духом, чистым нравственным авторитетом, свободным от всех земных забот. Освобожденный от тяжести светской власти, он все-таки не был свободен, так как находился на содержании у собственного духовенства, принужден был считаться со множеством окружающих его интересов и appetitов для того, чтобы быть гордым, честным, духовным властелином, способным спасти мир. И Пьеру пришел в голову лурдский грот в саду, только что виденная им лурдская хоругвь и он вспомнил, что лурдские монахи отчисляли ежегодно от доходов богородицы сумму в двести тысяч франков и посылали ее в подарок св. отцу. Разве не в этом скрывается основная причина их всемогущества? Он вздрогнул, так как ему внезапно стало ясно, что, несмотря на свое присутствие в Риме, несмотря на поддержку кардинала Бержеро, он потерпит поражение, и книга его будет осуждена.

Выходя на площадь св. Петра, пробираясь среди толкотни расходящейся толпы, он услышал за собой голос Нарсиса, который спрашивал:

— Вы серьезно думаете, что приношения превысили сегодня эту цифру?

— О, больше трех миллионов, я уверен в этом — ответил монсеньор Нани.

Все трое остановились на минуту под правой колоннадой, глядя на огромную освещенную солнцем площадь, по которой были рассеяны три тысячи паломников, точно маленькие черные точки, волнуясь, как взбудораженный муравейник.

Три миллиона... Цифра эта все еще звенела в ушах Пьера. Он поднял голову и взглянул на другую сторону площади, на позолоченные солнцем фасады Ватикана, сверкающие на безбрежной синеве неба, точно хотел через эти стены следовать за шагами Льва XIII, возвращающегося через галереи и залы в свои апартаменты, окна которых виднелись там вверху. Он представлял его себе нагруженным тремя миллионами, несущим их на себе, прижимающим к груди своими хилыми руками золото, серебро, ассигнации и даже брошенные женщинами драгоценности. Совершенно не замечая, он громко спросил:

— Что же он будет делать с этими миллионами? Куда уходит он с ними?

Нарсис и монсиньор Нани не могли удержаться от улыбки, слыша это наивное выражение любопытства. Нарсис ответил ему:

— Его святейшество уносит их в свою комнату или, по крайней мере, приказывает нести их туда впереди себя. Разве вы не заметили двух человек из свиты, которые собирали все и стояли с полными карманами и руками... Теперь его святейшество заперся один. Он отпустил всех и тщательно запер двери на затвор... И если бы вы посмотрели на него сквозь этот фасад, то вы увидели бы, что он считает и пересчитывает свое сокровище со счастливым вниманием, приводит в порядок свертки золота, прячет ассигнации в конверты маленькими пачками одинаковой величины, потом укладывает все и запирает в потайные ящики, известные только ему одному.

Когда спутник его говорил все это, Пьер снова поднял глаза на окна папы, точно сам видел эту сцену. Молодой человек продолжал свой рассказ, прибавляя, что в комнате у стены справа стоит шкаф, в котором хранятся деньги. Кроме того, одни рассказывали о глубоких ящиках письменного-стола, другие утверждали, что деньги покоятся в очень обширном алькове, в больших сундуках с висящими замками. С левой стороны коридора, ведущего в архив, находится большая комната, в которой сидит главный кассир и стоит монументальная касса с тремя отделениями. Но там находились вотчинные доходы св. Петра, правительственный сбор с Рима, а деньги, собранные с лепты, — подаение всего христианского мира, — оставались в руках Льва XIII, который один лишь знал их точную цифру и жил наедине с этими миллионами, распорядясь ими по своему усмотрению и не давая отчета никому. Когда слуги убирали комнату, он ни на минуту не уходил из нее. С трудом можно было уговорить его отойти к порогу соседней комнаты, чтобы избежать пыли. Когда ему приходилось оставлять комнату на несколько часов и уходить в сад, то он запирали ее и уносил ключи с собой, не доверяя никому.

Нарсис остановился и обернулся к монсиньору Нани.

— Не правда ли, монсиньор? Эти факты известны всему Риму.

Прелат покачал головой, продолжая улыбаться, не выражая ни одобрения, ни порицания, и снова стал следить, какое впечатление произвели на Пьера все эти рассказы.

— Конечно, конечно, рассказывают очень много... Я не знаю всего этого, но, если вы знаете, господин Абер...

— О, я не склонен обвинять его святейшество в чрезмерной скупости, о которой ходят слухи... — отвечал последний. — Рассказывают целые басни о сундуках, наполненных золотом, которое он по целым часам перебирает руками, о сокровищах, нагроможденных по углам для того, чтобы он имел возможность постоянно считать и пересчитывать их... Однако, можно допустить, что св. отец немножко любит деньги, что ему приятно прикасаться к ним, раскладывать их, когда он остается один — это вполне извинительное пристрастие для старика, у которого нет других развлечений... Я спешу прибавить, что он еще больше любит деньги за их социальную силу, за ту решительную поддержку, которую они могут дать в будущем папам, если они захотят победить.

Теперь Пьеру представилась величественная фигура этого осторожного и благоразумного папы, который сознает потребности нового времени, склонен пользоваться силами века для того, чтобы покорить его, затевает спекуляции, при чем во время одной катастрофы чуть было не потерял сокровищ, оставленных Пием IX, и потом стремится пополнить убыль и восстановить богатство для того, чтобы завещать его наследникам в упроченном и увеличенном виде. Он был бережлив, но бережлив для потребностей церкви, которые были огромны, росли со дня-на-день и представляли жизненное значение для церкви, желающей бороться с атеизмом в области школ, учреждений и всевозможных ассоциаций. Без денег церковь становилась вассалом, зависящим от произвола гражданских властей, от королевства Италии и других католических наций. Поэтому, несмотря на то, что он был благотворителем и щедро поддерживал все добрые дела, ведущие к торжеству веры, он относился с гордой суровостью к себе и другим. У него лично не было никаких потребностей. С момента своего восшествия на папский престол он резко отделил свои скромные частные доходы от богатых вотчинных доходов св. Петра и отказался взять что-либо из последних средств для того, чтобы помочь своим. Никогда еще верховный владыка не был менее склонен к nepотизму до такой степени, что его три племянника и две племянницы были очень бедны и находились в больших денежных затруднениях. Он не слушал ни сплетен, ни жалоб, ни обвинений, оставаясь твердым и несговорчивым, энергично защищая миллионы папского престола от ожесточенных вожделений своего двора и семейства, с гордостью думая о том, что он оставит будущим папам непобедимое орудие, дающее жизнь, — деньги.

— Но, в общем, как велики доходы и расходы папского престола?

Монсиньор Нани поспешил сделать свой любезный уклончивый жест.

— О, в этих делах я такой невежда... Обратитесь к господину Аберу, который так хорошо осведомлен.

— Боже мой!—воскликнул последний,—я знаю то, что знают и повторяют все в посольствах... Что касается доходов, то нужно различать прежде всего капиталы, оставленные Пием IX, около 20 миллионов, помещенных в разных местах и приносящих около миллиона ренты; но, как я уже вам говорил, произошла катастрофа, последствия которой, повидимому, уже заглажены. Потом, кроме постоянного дохода с помещенных капиталов, ежегодно есть в среднем несколько сот тысяч франков, получаемых папской канцелярией за дворянские титулы, а также всевозможные мелкие сборы, получаемые конгрегациями... Но так как смета расходов превышает семь миллионов, то вы видите, что ежегодно нужно достать еще шесть. Конечно, всех шести не может дать лепта св. Петра, — она дает три—четыре, и вот ими спекулируют, чтобы свести концы с концами... Было бы слишком долго рассказывать о спекуляциях св. престола за последние пятнадцать лет; сначала получались огромные барыши, потом произошла катастрофа, которая чуть не поглотила все, но, наконец, упорство в делах мало-помалу вернуло потерянное. Если вас интересует все это, то я когда-нибудь расскажу вам подробно.

Пьер слушал с большим интересом.

— Шесть миллионов! — вскричал он, — даже четыре! Сколько же приносит лепта святого Петра?

— Повторяю вам, что никто не знает точно. Прежде католические журналы печатали списки, цифры приношений, и с помощью их можно было приблизительно определить размер пожертвований. Но, вероятно, это сочли неудобным, потому что теперь уже не печатают никаких данных, вследствие чего совершенно невозможно составить себе какое-нибудь представление о доходах папы. Я еще раз повторяю, что только он один знает полную цифру, хранит деньги и распоряжается ими совершенно самостоятельно. Есть основание думать, что в благоприятные годы приношения доходят до четырех—пяти миллионов. Сначала Франция давала половину этой суммы, но теперь, наверно, дает меньше. Америка тоже дает много. Потом следуют: Бельгия, Австрия, Англия и Германия. Что же касается Испании... и Италии... Ах, Италия...

Он улыбнулся, глядя на монсиньора Нани, блаженно покачивающего головой с видом человека, с восторгом узнающего вещи, которые никогда не приходили ему в голову.

— Продолжайте, продолжайте, мой дорогой сын!

— Ах! Италия вовсе не отличается. Если бы папе пришлось жить приношениями итальянских католиков, то в Ватикане скоро воцарился бы голод. Можно даже сказать, что римская знать не только не помогала папам, но обошлась им слишком дорого. Одна из главных причин денежных потерь было то обстоятельство, что

папа давал займы спекулирующим князьям. Лишь во Франции и Англии богатые люди и знатные вельможи приносят царственные приношения пленному мученику — папе. Рассказывают об одном герцоге, который делал каждый год очень крупное приношение, вследствие обета, данного для того, чтобы добиться от неба излечения сына от идиотизма... Я не говорю о необычайно богатой жатве, повергнутой к ногам папы во время папского и епископского юбилея и доходящей до сорока миллионов.

— А расходы? — спросил Пьер.

— Я уже говорил вам, что они доходят приблизительно до сорока миллионов. Можно считать в два миллиона пенсии прежним чиновникам папского правительства, не пожелавшим служить Италии, но нужно прибавить, что цифра эта уменьшается ежегодно по естественным причинам... Затем будем считать приблизительно миллион на итальянские епархии, миллион на секретариат и нунциев, миллион на содержание Ватикана. В этой последней статье я считаю расходы папского двора, гвардии, музеев, дворцов и собора... Вот уже пять миллионов, не правда ли? Прибавьте еще два миллиона на поддержание добрых дел, на пропаганду и особенно на учебные заведения, которые очень щедро поддерживает Лев XIII, благодаря своему широкому практическому уму, основываясь на том вполне справедливом соображении, что центр борьбы и торжества религии лежит здесь, среди детей, которые завтра станут взрослыми людьми и будут защищать свою мать-церковь, если им сумели внушить отвращение к ужасным учениям нашего века.

Наступило молчание. Все трое остановились под величественной колоннадой, где они только что прогуливались медленными шагами. Понемногу площадь опустела от кишевшей толпы, и на ней остались обелиск и два фонтана, среди пылающей чистой симметрической мостовой, а напротив, при ярком свете солнца, на карнизе портика рисовались статуи благородным, неподвижным рядом.

Пьеру, еще раз поднявшему глаза на окна папы, снова казалось, что он видит его осыпанным золотом, о котором только что шла речь, погружающим все свое чистое и белое существо, все свое прозрачное, точно восковое, жалкое тело в эти миллионы, которые он прячет и тратит лишь для славы божией.

— Значит, — пробормотал он, — ему не приходится беспокоиться, переживать денежные затруднения?

— Затруднения, затруднения? — вскричал монсеньор Нани, которого это слово настолько вывело из равновесия, что он забыл о своей дипломатической скромности. — Ах, мой дорогой сын... Каждый месяц, когда казначей кардинал Моченни отправляется к его святейшеству, он получает столько, сколько требует, как бы ни была велика сумма. Конечно, папа имел благоразумие делать большие сбережения, и теперь казна св. Петра богаче, чем когда бы то ни было... Затруднения, затруднения!.. Боже ты гори! Да знаете ли вы, что если бы вследствие каких-нибудь неблагоприятных обстоятельств верховный владыка непосредственно обратился к ще-

рости своей паствы, к католикам всего мира, то к ногам его упал бы миллиард, так же точно, как упало это золото и драгоценности, которые только что сыпались на ступеньки трона...

Прежде чем перейти через площадь, Пьер еще раз поднял глаза на окна Ватикана; теперь в душе его все резюмировалось и остались только эти деньги, тяжелая нужда в которых привязывала к земле последними узами папу, освобожденного от забот светской власти, — эти деньги, связывающие его и нежелательные, благодаря тому способу, при помощи которого они добывались. Однако, он все-таки обрадовался при мысли о том, что его представлению о папе, как одухотворенной заповеди любви, духовном властителе мира, не угрожает особенная опасность, если все дело сводится к тому, чтобы найти способ собирания денег.

К счастью, у Пьера был на завтрашнюю церемонию розовый билет, дающий ему право на место в отдельной трибуне, потому что с шести часов утра, когда догадались открыть решетки, в дверях собора поднялась ужасная толкотня, хотя обедня, которую должен был служить сам папа, была назначена только на 10 часов. Три тысячи верующих, принимающих участие в международном паломничестве лепты св. Петра, удесятирились вследствие наплыва всех туристов, находящихся в Италии и приехавших в Рим для того, чтобы видеть одну из столь редких папских церемоний; к ним присоединились и набожные и преданные св. престолу люди, которые существовали как в Риме, так и во всех больших городах королевства, и при всяком удобном случае спешили выразить свое настроение. По числу розданных билетов считали, что всего будет около сорока тысяч присутствующих. Когда в 9 часов Пьер перешел через площадь, направляясь на улицу св. Марфы к каноническим вратам, где отбирались розовые билеты, он увидел под портиком фасада бесконечный хвост медленно входящей публики; какие-то господа в черных фраках, члены — распорядители католического общества, суетились на солнце, поддерживая порядок при помощи отряда папских жандармов. В толпе кто-то яростно спорил, и невольные толчки приводили нередко к драке. Была такая давка, что двух женщин вынесли полузадушенными.

Ах, эта огромная толпа концерта-монст, эти тридцать—сорок тысяч верующих, собравшихся отовсюду, горящих любопытством, страстью и верой, суесящихся и толкающих друг друга, поднимающихся на цыпочки, чтобы лучше видеть среди шума этого людского моря, — толпа, фамиллярно и весело относящаяся к богу, точно она очутилась в каком-то божественном театре, где вполне позволительно громко говорить и развлекаться во время зрелища, полного религиозной торжественности! Сперва Пьера поразило это настроение: он знал лишь толпу мрачных соборов с волнением, молча преклоняющую колени, и не привык к этой религии, полной света, пышность которой придавала церемонии характер какого-то праздника. На хорах, где он занял место, вокруг него сидели мужчины во фраках и дамы в черном, с биноклями в руках, точно в опере.

Здесь было много иностранных дам: немки, англичанок и в особенности очаровательных американок, своей грацией напоминающих ветреных и болтливых птичек. Слева в трибуне, предназначенной для римской знати, Пьер узнал Бенедетту и тетку ее, донну Серафину; и здесь резко выделялись среди требуемой этикетом простоты костюмов выдающиеся своей красотой и богатством кружевные вуали. Дальше, направо, на трибуне мальтийских рыцарей восседал гросмейстер ордена среди группы командоров; прямо, напротив, с другой стороны нефа, на трибуне дипломатического корпуса Пьер увидел послов всех католических наций в полной парадной форме, сверкающих золотым шитьем. Но взгляд его постоянно возвращался к этой огромной, смутной и волнующейся толпе, в которой три тысячи паломников совершенно исчезли, затерявшись среди тысяч других верующих. И все-таки собор, который мог легко поместить 70.000 человек, был лишь наполовину наполнен этой толпой, свободно двигающейся вдоль боковых приделов и скучивающейся под колоннами, откуда лучше всего можно было видеть всю церемонию.

Вдруг послышались преждевременные выражения радости и тревоги. В толпе все ближе раздавались восклицания: есоло! есоло! вот он, вот он! Началась толкотня, движение взволновало море голов и все, вытягивая шеи, поднимаясь на цыпочках, рвались вперед, в безумном желании увидеть св. отца и его кортеж. Но это был только отряд дворянских гвардейцев, которые расположились справа и слева от алтаря. На них смотрели с изумлением и сделали им овацию, при виде из бесстрастной осанки и преувеличенной военной неподвижности поднялся лестный ропот.

Наконец, потянулся кортеж. Его-то ждала публика с напряженным любопытством, чтобы приветствовать при появлении. Точно так же, как это бывает в театре, лишь только появился кортеж, грянули бешеные рукоплескания и, поднявшись, прогремели под сводами. Его встретили, как встречают первый выход любимого актера в главной роли, в которой он заставляет биться все сердца.

Это был кортеж прежних торжественных обрядов: впереди несли крест и меч, затем шли швейцарская гвардия в парадной форме, слуги в пурпурных подрясниках, рыцари плаща и шпаги в костюмах Генриха II, каноники в кружевных стихарях, настоятели религиозных общин, апостольские протонотари, архиепископы и епископы, весь папский двор в фиолетовых шелковых одеждах, кардиналы в больших шляпах и пурпурной одежде; все они шли попарно, на некотором расстоянии, торжественно выступая. Наконец, вокруг его святейшества группировались офицеры его военной свиты, тайные сослужащие прелаты, монсиньор мажордом, монсиньор камерарий и все высокие сановники Ватикана, а возле трона шел римский князь — традиционный, символический защитник церкви. На переносном кресле, которое прикрывали веероносцы высокими величественными перьями опахал и несли носильщики, одетые в красные, обшитые золотом мундиры, сидел его святейшество в священной

одежде, надетой в капелле св. Таинства: в стихаре, омофоре, епитрахили, белой ризе и белой украшенной золотом митре. Последние два предмета были подарены ему французами и отличались чрезвычайной пышностью. При его приближении руки поднялись, хлопая еще выше в волнах солнца, проливающих сквозь окна.

Теперь в душе Пьера возник новый образ Льва XIII. Это не был уже простой, усталый и любопытный старец, гуляющий под руку с болтливым прелатом по прекраснейшим в мире садам. Это не был и св. отец в красной мантии и папской тиаре, отечески принимающий паломников, которые принесли ему целое состояние. Это был верховный первосвященник, всемогущий владыка, бог, перед которым преклонялся христианский мир. Его худое восковое тело, казалось, застыло в белой тяжелой от золота одежде, точно в золотой раке. Он хранил горделивую неподвижность, точно высохший идол, позолоченный много веков тому назад и стоящий среди дыма жертвоприношений. Лишь одни глаза жили среди мертвого сурового лица; это были сверкающие глаза из черных алмазов, устремленные куда-то вдаль, за пределы земли, в бесконечность. Он ни разу не взглянул на толпу, не смотрел ни направо, ни налево и сидел на свете солнца, ничего не зная о том, что происходит у ног его. И этот, несомый на кресле, точно набальзамированный глухой и слепой идол, несмотря на блеск его глаз, повидимому, не слышащий и не видящий этой восторженной толпы, принимал страшное величие, всю упорность догмата, неподвижность традиции, вырытой из земли вместе с перевязками, которые одни поддерживали его. Пьеру казалось, что папа нездоров и утомлен; вероятно у него был приступ лихорадки, о которой говорил ему накануне монсиньор Нани, превознося бодрость и величие души этого 84-летнего старца, которого удерживало при жизни желание жить и исполнять свою царственную роль.

Церемония началась. Сойдя с кресла у алтаря Покаяния, его святейшество медленно стал служить обедню при помощи четырех прелатов и пропрефекта церемоний. Во время омовения монсиньор мажордом и монсиньор камерарий в сопровождении двух кардиналов пролили немного воды на царственные руки служащего обедню; незадолго до возношения все прелаты папского двора с зажженными свечами в руках стали на колени вокруг алтаря. Наступила торжественная минута: сорок тысяч собранных здесь верующих затрепетали, чувствуя на себе страшное и сладостное дыхание невидимого, когда при возношении серебряные рожки заиграли знаменитый хор ангелов, во время которого всякий раз женщины падают в обморок. Почти в то же время звуки неземного пения донеслись со стороны купола, с верхней галереи, где было спрятано сто двадцать певиц. Наступило всеобщее изумление, всем казалось, что сами ангелы ответили на призыв рожков. Легкие, точно исходящие из небесных сфер, звуки спускались, парили под сводами, потом замерли в нежном аккорде, вернулись в небо, точно шум крыльев и замолкли. После обедни его святейшество, все еще стоя около ал-

вари, сам запел *Te Deum*, а за ним подхватил хор и певчие Си-стинской капеллы, певшие поочередно отдельные куплеты.

После *Te Deum* поднялся шум, когда Лев XIII, надевши тиару вместо митры, и папскую мантию, вместо ризы, занял трон на кафедре, возвышающейся у входа в левый трансепт. Сидя там, он господствовал над всеми присутствующими. И какой трепет овладел ими, точно под дыханием невидимого, когда папа поднялся после соответствующих молитв. Он, казалось, вырос под тройной символической короной, в своем плаще, облегающем его точно рака.

Взрыв энтузиазма дошел до такой степени, что хлопанье в ладоши уже не удовлетворяло присутствующих; к нему стали примешиваться восклицания, и скоро вся толпа стала кричать. Это началось около статуи св. Петра; в группе ревностных католиков послышался крик: «*Evviva il papa re!*»! «*Evviva il papa re!*». Да здравствует папа-король. Потом во время движения кортежа, точно пламя пожара загло сердца присутствующих, распространяясь все далее и далее, и вылилось в тысячеустный громовый протест против похищения государства у церкви. Вся вера, вся любовь верующих, возбужденных величественным видом такой прекрасной церемонии, вылились в мечту, в безумные желание видеть папу верховным первосвященником и королем, владыкой тела в такой же степени, как он был владыкой души, неограниченным властелином земли. В этом состояла единственная истина, единственное счастье, единственное спасение! *Evviva il papa re! Evviva il papa re!* Да здравствует папа-король! Да здравствует папа-король!

Ах, этот крик. Этот воинственный крик, побудивший к стольким преступлениям и заставивший пролить столько крови, этот крик забвения и ослепления, это желание, осуществление которого возвратило бы на землю века страданий. Он возмутил Пьера и он решил поскорее сойти с трибуны, чтобы избежать заразительности от идолопоклонства.

Церковный служитель, стоявший у двери, взволнованный и похищенный манифестацией, взглянул на него, не решаясь остановить, потом, заметив рясу священника и уступая собственному волнению, он стал снисходителен и жестом руки пропустил Пьера, который тотчас пошел по лестнице и стал быстро подниматься, чтобы убежать, взобраться как можно выше и найти мир и тишину.

Внезапно воцарилось глубокое молчание, потому что стены заглушали крики, и до ушей Пьера долетел лишь легкий шум. Это была удобная и светлая лестница с широкими, замощенными ступеньками, извивающимися точно в башне. Поднявшись на крышу приделов, он с радостью увидел солнечный свет, чистый и свежий воздух, точно на открытой равнине. Он с удивлением водил глазами по огромному пространству, покрытому свинцом, цинком и камнем. Это был целый воздушный город, живущий своей собственной жизнью под голубым небом. Пьер видел здесь куполы, колокольни, террасы и даже сады и дома, маленькие, украшенные цветами до-

мики, в которых живут рабочие, постоянно занятые ремонтом собора. Здесь волнуется, любит, работает, ест и спит целое маленькое население.

Какое сладостное утешение доставила ему сначала эта атмосфера чистого воздуха, атмосфера бесконечности. Над ним находился лишь бронзовый шар, куда поднимались лишь императоры и королевы, о чем свидетельствуют горделивые надписи в коридорах. Это пустой шар, в котором голос звучит, как раскат грома, и где отражается всякий шум в пространстве.

Потом по узкой галлерее Пьер обошел вокруг фонаря и внезапно очутился лицом к лицу с Римом. Перед ним сразу раскрылось необъятное пространство: отдаленное море на западе, прерывающиеся горные цепи на востоке и юге, тянущаяся во всю длину горизонта римская Кампанья, напоминающая однообразную и зеленоватую пустыню, и у ног его город, вечный город. Никогда еще не случилось ему испытывать такого величественного впечатления пространства. Здесь был Рим весь перед его глазами, видимый с птичьего полета с отчетливостью рельефного плана. С одной стороны — такое прошлое, такая история и столько величия, — с другой — крошечные, точно игрушки домики, будто пятна плесени на поверхности земли.

Внезапно Пьер, одиноко стоящий на вышине, понял все. Это была точно огненная стрела, поразившая его в том свободном безграничном пространстве, где он парил. Что вызвало его просветление. Звуки ли церемонии, которую он только что видел, или фанатический рабский крик. Может быть вид этого распростертого у ног его города, точно труп набальзамированной царицы, которая все еще продолжает царствовать во прахе своей могилы. Он не мог решить этого вопроса, так как, несомненно, действовали обе причины. Но ему стало совершенно ясно одно: он понял, что католицизм не может существовать без светской власти, что он неизбежно исчезнет в тот самый день, когда перестанет быть царем этой земли.

Теперь все становилось ему ясно. Если Пий IX и Лев XIII решились запереться в Ватикане, то они это сделали только потому, что необходимость приковывала их к Риму. Папа не властен удалиться оттуда и быть главою церкви в другом месте. Точно так же, как бы глубоко какой-нибудь папа не понимал современный мир, он не имеет права отказываться от светской власти. Это неизбежное наследство, защита которого лежит на нем, это, кроме того, жизненный вопрос, о котором не может быть спора. Таким образом Лев XIII сохранил титул владыки светских владений церкви, тем более, что, как кардинал, он, подобно всем членам священной коллегии во время их избрания, поклялся сохранить неприкосновенной эту область.

Теперь при виде этого старого города славы и господства, не желающего отказаться от своего пурпура, Пьеру показалась бессмысленной его мечта о чисто-духовном папе. И его прежние мысли

представились ему до такой степени иными и неуместными, что он почувствовал стыд и отчаяние. Новый евангельский папа, каким должен быть чисто-духовный папа, совершенно не совпадал с понятием о римском прелате. При воспоминании о папском дворе, застывшем в обрядах, гордости и власти, им внезапно овладел ужас и какое-то физическое отвращение. Ах, какое изумление и презрение должна была возбуждать в Ватикане эта странная мечта о папе без земель и подданных, без военного штаба и царских почестей, — о папе, который был бы чистым духом, чистым нравственным авторитетом, заключенным во храме и правящим миром своим благославляющим жестом, при помощи доброты и любви. Для этого латинского духовенства, жрецов света и великолепия, очень набожных, даже суеверных, но оставляющих бога в скинии для того, чтобы властвовать от его имени в интересах неба, хитрящих, как обыкновенные политики, живущих при помощи всевозможных уловок среди борьбы человеческих appetitов, идущих скромными шагами дипломатов к окончательной земной победе христа, который должен был когда-то воцариться над народами в лице папы, — его планы были готическим, туманным измышлением. Какое изумление охватило французского прелата, монсиньора Бержеро, этого святого епископа, полного милосердия и самоотречения, когда он попал в ватиканский мир. Как трудно ему было сначала видеть ясно, избрать определенную точку зрения, как прискорбно было ему потом, когда он увидел, что не может столкнуться с этими людьми без отечества, вечно склоненными над картой двух миров, занятыми соображениями, которые должны были обеспечить им господство. Нужно много дней, нужно жить в Риме для того, чтобы понять это все. Он сам понял лишь после месячного пребывания, под сильным впечатлением, вызванным царственной пышностью собора, видом древнего города, тяжелым сном спящего на солнце и мечтающего о бессмертии.

Пьер опустил глаза на площадь перед собором и увидел толпу народа, сорок тысяч верующих, которые высыпали точно насекомые и копошились на белой мостовой. И теперь ему показалось, что снова начался крик: *Evviva il papa re! Evviva il papa re!* Да здравствует папа-король. Только что, когда он поднимался по бесконечным лестницам, ему представлялось, что каменный колосс вздрагивает от этого яростного крика, раздающегося под его сводами. И теперь, когда он поднялся за облака, ему все еще казалось, что крик достигает до него через огромное пространство.

Толпа все выходила, наполняя площадь, и мучительная скорбь сжала его сердце, потому что крик ее убил в нем последнюю надежду. Еще накануне, после приема паломников в зале Беатификации он мог питать иллюзии, забывая о денежной нужде, приковывающей папу к земле, мог видеть лишь немощного одухотворенного старца, сияющего точно символ нравственного авторитета. Но теперь наступил конец его вере в этого евангельского пастыря, свободного от земных благ, короля небесного царства. Не только деньги, по-

лученные из лепты св. Петра, налагали цепи рабства на Льва XIII: он был, кроме того, рабом традиций, вечным королем Рима, прикованным к этой почве и не могущим ни покинуть города, ни отказаться от светской власти. В конце концов его неизбежно ожидала смерть на месте, когда собор св. Петра разрушится точно так же, как разрушился храм Юпитера Капитолийского, после чего католицизм покроет траву своими развалинами, а раскол будет все увеличиваться, создавая новую веру для новых народов. Пьеру показалось, что он видит это грандиозное и трагическое будущее, видит, как мечта его разрушается, книга уничтожается этим криком, который оглашал воздух, точно направляясь во все четыре стороны католического мира: *Evviva il papa re! Evviva il papa re!* Да здравствует папа-король. И ему показалось, что гигант из золота и мрамора качается под его ногами, вследствие падения старого истлевшего общества.

Наконец, Пьер начал спускаться, но каково же было его волнение, когда он встретил монсиньора Нани на крышах приделов, среди облитого солнцем пространства, могущего поместить целый город.

Узнавши молодого священника, он тотчас обратился к нему.

— Ну что, мой дорогой сын, вы довольны? Произвела ли на вас впечатление церемония, навела ли вас на какие-нибудь возвышенные размышления?

Своими пытливыми глазами он проникал ему прямо в душу, стараясь убедиться, к чему привел опыт. Потом он стал смеяться с довольным видом.

— Да, да. Я вижу... Вы все-таки человек благоразумный. Я начинаю верить, что ваше злосчастное дело окончится очень хорошо.

III.

В те дни, когда Пьер оставался по утрам во дворце Бокканера и никуда не уходил, он имел обыкновение проводить целые часы в маленьком покинутом садике, когда-то оканчивавшемся балконом с портиком, из которого по двойной лестнице можно было сойти к Тибру. Теперь это был очаровательный уединенный уголок, где приятно пахло зрелыми апельсинами, растущими на столетних деревьях, симметрические ряды которых указывали направление, исчезнувших под дикими травами, аллей. Он чувствовал здесь также запах бука, высокие кусты которого росли в засыпанном землею водоеме.

Однажды утром Пьер застал Бенедетту сидящей на обломке колонны, которая служила скамейкой. Она слегка вскрикнула от изумления и некоторое время чувствовала смущение, потому что в руках ее была книга Пьера, Новый Рим, который она уже прочла и не поняла. Она стала удерживать его, предложила ему занять место возле нее и со свойственной ей очаровательностью и со своим спокойным, благоразумным видом создалась, что сошла в сад, чтобы остаться наедине и заняться чтением, как невежест-

ветная школьница. Они стали болтать, точно друзья, и этот час казался Пьеру очаровательным. Хотя Бенедетта и старалась не говорить о себе, но он ясно чувствовал, что ее сближают с ним лишь ее печали, как-будто страдания расширили ее сердце до того, что она готова была заниматься всеми, кто страдал в этом мире. До сих пор она никогда еще не думала об этом в своей патрицианской гордости; для нее иерархия, согласно которой сверху были счастливые, а внизу несчастные, была божественным законом, не допускающим никаких изменений. Какое удивление возбуждали в ней некоторые страницы книги, как трудно было постигнуть их! Как! интересоваться черным народом, думать, что у него такая же душа, такие же печали, стремиться к тому, чтобы ему, как брату, доставить радость! Она родилась и выросла в атмосфере иной расы, созданной для того, чтобы занять в небе престолы и царить над серой толпой избранных.

Много раз потом встречались они по утрам в тени лавра, возле журчащего фонтана. Пьер, не имея никаких занятий и чувствуя усталость от бесконечного ожидания решения, которое тоже отдалялось с каждым часом, увлекся мыслью о том, чтобы вдохнуть дух освободительного братства в эту юную прекрасную женщину, сверкающую юной любовью. Его начала увлекать мысль, что он вразумляет самую Италию, царицу красоты, все еще дремлющую в невежестве, которой суждено вернуть прежнее величие, если она проснется в наше время с душой, преисполненной сострадания к людям. Она, чтобы доставить ему удовольствие, готова была верить в демократию, в реформу общества на началах братства, но только не в Риме, а у других народов; поэтому она невольно начинала тихо смеяться, когда Пьер заговаривал о братском примирении того, что оставалось от Транстевера, с тем, что осталось от древних княжеских дворцов. Нет, нет! Это тянется слишком долго, и положения этого не следует изменять. Вообще ученица не делала успехов, она была в сущности тронута лишь страстным стремлением к любви, которая так горячо пылала в душе священника и которую он целомудренно направил не на одно живое существо, а на всех людей. В эти солнечные октябрьские утра между ними завязалась очаровательная нежная связь, они полюбили друг друга нежной и чистой любовью, несмотря на ту великую любовь, которая снедала их сердца.

Потом в одно утро Бенедетта, облокотившись на саркофаг, заговорила о Дарио, имя которого она избегала произносить до сих пор. Ах! бедный друг! как он был скромен и сколько выражал раскаяния после овладевшего им припадка. Сначала для того, чтобы скрыть свое смущение, он отправился на три дня в Неаполь, куда, говоря, поехала за ним Тониетта, красавица с букетом белых роз, которая безумно влюбилась в него. После своего возвращения во дворец, он старался не оставаться наедине со своей кузиной и увиделся с ней только в понедельник вечером, причем у него был очень униженный вид и он взглядом просил прощения.

— Вчера, — продолжала она, — встретив его на лестнице, я подала ему руку; он понял, что я уже не сержусь на него, и был очень счастлив... Что же делать? Невозможно быть строгой очень долго. Да, кроме того, я боюсь, чтобы он не скомпрометировал себя этой женщиной, а это вполне возможно, если он станет вести слишком веселую жизнь для того, чтобы забыться. Нужно, чтобы он знал, что я всегда люблю и жду его... А он принадлежит мне одной! Он был бы здесь в моих объятиях навсегда, если бы я могла сказать одно слово. Но наши дела идут так скверно, так скверно!

Она замолчала, и две большие слезы появились в ее глазах. Действительно, дело об уничтожении брака, повидимому, остановилось, благодаря всевозможным, беспрестанно возникающим препятствиям.

Пьер был очень тронут этими слезами, которые появлялись у нее так редко. Иногда она сама говорила со своей спокойной улыбкой, что не умеет плакать. Но теперь сердце ее разрывалось, и она стояла с минуту точно без чувств, облокотившись на обросший мхом, полуизъеденный водой саркофаг, а светлая струя, падающая из открытого рта трагической маски, продолжала звучать точно жемчужный звук флейты.

— Любовь дает столько силы! — пробормотал Пьер.

— Да, да, вы правы! — подхватила она, уже улыбаясь. — Но тут виноваты вы со своей книгой. Я понимаю ее только тогда, когда страдаю сама... Во всяком случае я делаю успехи, не правда ли? Так как вы хотите этого, то пусть все бедные будут моими братьями и все страдающие, как я, — моими сестрами!

Обыкновенно Бенедетта первая возвращалась к себе домой, а Пьер часто оставался один под лавром, среди сохранившегося после нее легкого женского аромата, предаваясь приятным и печальным мечтам. Как неумолима жизнь для тех бедных существ, которые питают жажду одного лишь счастья. Вокруг него еще увеличилась тишина, весь древний дворец спал тяжелым сном: развалины вместе с соседним двором, усеянным травой, окруженный мертвым портиком, под которым обрастали мхом выкопанные статуи: безрукий Аполлон и туловище Венеры; только от времени до времени это гробовое молчание нарушалось грохотом экипажа какого-нибудь прелата, приезжающего с визитом к кардиналу. Карета въезжала в ворота, а затем, шумно громяхая колесами, объезжала кругом пустынный двор.

В один из понедельников, после десяти часов, в гостиной донны Серафины было лишь несколько молодых людей. Монсиньор Нани заходил только на минутку, кардинал Сарно только что ушел. А сама донна Серафина держалась особняком и, сидя на своем обычном месте возле камина, не сводила глаз с незанятого места адвоката Морано, который упорно решил не появляться. Перед диваном, на котором сидели Челия и Бенедетта, стояли, болтая и улыбаясь, Пьер, Дарио и Нарсис Абер. Последний уже

несколько минут развлекался тем, что шутил над молодым князем, рассказывая, как он встретил его в обществе какой-то очень красивой девушки.

— Но, мой дорогой, не защищайтесь, потому что она, правда же, великолепна... Она шла рядом с вами, вы повернули по пустынной улице, кажется, Борго Анджелико, и я не пошел за вами из скромности.

Дарио улыбался с довольным видом, как счастливый человек, который не может отрицать своего пристрастия к красоте.

— Конечно, конечно, это был я, я и не отрицаю... Но только дело обстоит вовсе не так, как вы думаете.

И, обращаясь к Бенедетте, которая тоже очень смеялась, без всякой тени беспокойной ревности, но напротив, как будто обрадованная, что глаза его получили такое наслаждение, он продолжал:

— Знаешь, дело идет о той самой бедной девушке, которую я встретил плачущей месяца полтора тому назад... Да, это та самая работница на фабрике бус, которая рыдала, потеряв работу, а потом, раскрасневшись, бежала впереди меня, чтобы отвести меня к родителям, когда я захотел дать ей серебряную монету... Это Пьерина, помнишь?

— Пьерина! конечно, помню!

— Итак, представьте себе, с тех пор я несколько раз встречал ее на улице. Она действительно необычайно красива, так что я охотно останавливаюсь и болтаю с ней. Когда-то я проводил ее таким образом к одному фабриканту... Но она все еще не нашла работы и снова плачет; чтобы утешить ее немножко, я поцеловал ее... Ах, она была так поражена этим, так счастлива, так счастлива!

Теперь все смеялись, слушая этот рассказ. Первая перестала смеяться Челия и серьезным голосом сказала:

— Вы знаете, Дарио, что она любит вас. Не нужно быть злым.

Дарио, вероятно, думал то же самое, что и она, потому что он снова взглянул на Бенедетту и весело покачал головой, как бы желая сказать, что если он и любим, то сам во всяком случае не любит. Работница, девушка из простонародья, — ну уж нет! Она могла быть прекрасна, как Венера, но все же не годилась в любовницы. И его самого стало очень забавлять романтическое приключение, которому Нарсис старался придать форму древнего сонета: прекрасная работница безумно влюбляется в проходящего мимо молодого, прекрасного, как день, князя, который хотел дать ей эю, тронутый ее жалкой участью; с тех пор сердце прекрасной работницы взволновано, потому что он оказался таким же прекрасным, как и милосердным: она мечтает только о нем, всюду ходит за ним, потому что ее тянет к нему пламенное чувство; она отказалась от эю, но своими покорными и нежными глазами просит у него сердца, которое юный князь дарит ей в один прекрасный вечер.

Бенедетте очень понравилась эта шутка. Но Челия, несмотря на свое ангельское лицо маленькой девочки, которой следовало бы не знать ничего, сохраняла серьезный вид и повторяла:

— Дарио, Дарио! она любит вас, не нужно доставлять ей страданий.

Наконец, и в душе контессины проснулась жалость.

— Они очень несчастны, эти бедняки!

— О! — вскричал князь, — невероятная нищета! Когда она свела меня туда, на Крепостные луга, я чуть не задохнулся. Это ужасно, ужасно до невероятия!

— Но мне помнится, — продолжала она, — мы строили планы навестить этих несчастных, и это очень нехорошо, что мы медлили до сих пор... Не правда ли, господин аббат Фроман, вы очень хотели для ваших научных трудов сопровождать нас и увидеть вблизи бедных Рима.

Она подняла глаза на Пьера, который некоторое время молчал. Он был очень тронут, что ей снова пришла в голову чело-веколюбивая мысль. По легкому дрожанию ее голоса он догадался, что она хочет показаться послушной ученицей, делающей успехи в области любви к несчастным и униженным. Но к нему тотчас вернулось страстное рвение к своему призванию.

— О! я не покину Рима, — сказал он, — пока не увижу страдающего, бедного люда, лишенного хлеба и труда. Это болезнь всех наций, и спасение может наступить только тогда, когда будет исцелена нищета. Корни дерева перестают питаться, оно умирает.

— Ну, хорошо, — продолжала она, — устроим это свидание тотчас же, пойдите с нами туда... Дарио поведет нас.

Последний слушал священника с изумленным видом, не особенно хорошо понимая, к чему относится фраза о корнях и дереве, потом с каким-то отчаянием воскликнул:

— Нет, нет, кузина, можешь водить туда господина аббата, если это доставляет тебе удовольствие... Я уже был там и больше не пойду. Право же, вернувшись оттуда, я чуть не слег, во мне все перевернулось вверх дном, голова и желудок... Нет, нет, это слишком печально, невозможно выносить подобный ужас!

В эту минуту со стороны камина послышался недовольный голос донны Серафины, которая вышла из продолжительного безмолвия и заговорила:

— Дарио прав! Пошли туда милостыню, моя дорогая, я охотно прибавлю что-нибудь с моей стороны... Но только есть другие места, которые можно видеть с большей пользой и куда ты можешь свести господина аббата... А то у него останется дурное воспоминание о нашем городе!

В ее недовольстве ясно слышалась римская гордость. К чему показывать свои раны иностранцам, которых привело, быть может, враждебное любопытство? Нужно всегда думать о красоте и показывать Рим не иначе, как во всем блеске его славы.

Но Пьером уже овладел Нарсис.

— Ах, мой дорогой, это правда, я совсем забыл посоветовать нам совершить эту прогулку... Вам непременно нужно посетить квартал, выстроенный на Крепостных лугах. Он очень типичен и резюмирует все остальные кварталы; я ручаюсь вам за то, что вы не потеряете даром времени, потому что ни что другое не скажет вам так много о нынешнем Риме. Это нечто необычайное.

Потом, обращаясь к Бенедетте, он продолжал:

— Так это решено? Хотите отправиться завтра утром... Вы останетесь там аббата и меня, я предпочитаю сперва объяснить ему, в чем дело, чтобы он мог понять... В десять часов, согласны?

Прежде чем ответить ему, контессина обратилась к своей тётке и вступила с ней в почтительный спор.

— Видишь ли, тетя, господин аббат уже видел на наших улицах достаточно нищих, так что ему можно показать и все остальное. Впрочем, судя по тому, что он рассказывает в своей книге, он не увидит в Риме больше, чем в Париже. Голод везде один и тот же, как сказано где-то в его книге.

Потом она мягко, с благоразумным видом принялась за Дарио.

— Ты знаешь, Дарио, что ты доставил бы мне большое удовольствие, если бы проводил меня туда. Без тебя мы имели бы такой вид, точно свалились с неба... Мы возьмем карету и поедим к этим господам, это будет очень милая прогулка... Мы уже так давно не выезжали вместе!

Конечно, ее приводил в восторг этот предлог для того, чтобы взять его с собой и окончательно примириться с ним. Он почувствовал это и, не имея возможности отказаться, стал шутить.

— Ах, кузина, вина твоя, если меня целую неделю будут мучить кошмары. Такая прогулка может отравить жизнь на целую неделю.

Он заранее вздрагивал от возмущения. Поднялся смех, и несмотря на молчаливое неодобрение донны Серафины, встреча была окончательно назначена на 10 часов утра следующего дня. Уходя, Мелия выразила сожаление, что не может отправиться вместе с ними. Но эта нераспустившаяся чистая лилия интересовалась только Пьеринной. Поэтому она в передней нагнулась к уху своей подруги и шепнула:

— Присмотрись, моя дорогая, хорошенько к этой красавице и скажи мне потом, действительно ли она прекрасна, очень прекрасна, прекраснее всех остальных.

На другой день, в девять часов, найдя Нарсиса возле замка св. Ангела, Пьер с удивлением увидел, что им снова овладел интуитизм к искусству и он впал в томное настроение. Сначала они совершенно не касались новых кварталов и вызванной ими ужасной финансовой катастрофы. Молодой человек рассказал, что поднялся с восходом солнца для того, чтобы провести час перед св. Терезией работы Бертини. Он утверждал, что испытывает страдание, и сердце его наполняется слезами, точно от разлуки

с любимой женщиной, если ему случается не видеть ее в течение недели.

— Ах, друг мой! — говорил он с усталым видом и томными глазами, — вы не имеете представления о ее роскошном и беспокойном пробуждении сегодня утром... Чистая, несведущая дева, уставшая от наслаждения и томно открывавшая глаза, только что выйдя из объятий христа... Ах! от этого можно просто умереть!

Потом, сделавши несколько шагов и успокоившись, он продолжал своим отчетливым голосом практичного человека, очень сведущего в жизни.

— Мы потихоньку направимся с вами к новому кварталу, постройки которого вы видите там впереди; во время пути я расскажу вам все, что знаю. О! это одна из самых необычайных историй, один из припадков безумной спекуляции, которые красивы, как чудовищное и прекрасное произведение какого-нибудь свихнувшегося гения... Я знаю все это от моих родственников, которые участвовали в этой игре и заработали большие деньги.

Он стал рассказывать эту необычайную историю с ясностью и точностью финансового дельца, совершенно свободно употребляя всевозможные технические термины. Тотчас после взятия Рима, когда вся Италия была полна безумного энтузиазма при мысли о том, что она обладает, наконец, желанной столицей, древним, славным, вечным городом, которому обещано господство над миром, это было вполне законное проявление радости и надежды молодого народа, который только что устроился и хочет доказать свою силу. Нужно было овладеть Римом, сделать из него современную столицу, достойную великого королевства; для этого прежде всего нужно было очистить Рим от позорящей его грязи. Теперь трудно себе даже представить, в какой грязи утонул город пап — «Свинский город», о котором так жалуют художники. В нем не было даже отхожих мест, улицы служили для отправления всех потребностей, царственные развалины были превращены в помойные ямы, подъезды старинных княжеских дворцов запачканы экскрементами, повсюду лежал слой сора, всяких остатков и разлагающихся веществ, которые превращали улицы в отравленные канавы, постоянно служившие источником эпидемий. Обширные работы по упорядочению города были вполне необходимы; это была спасительная мера, которая могла вернуть городу молодость и обеспечить ему более широкую и спокойную жизнь. Точно так же следовало подумать о постройке новых домов для новых жителей, которые должны были стекаться со всех сторон. То же самое замечено было в Берлине после создания Германской империи: на глазах всех народонаселение города увеличилось на несколько сот тысяч жителей. Конечно, и Рим удвоит, утроит, удесятерит свое население, привлекая к себе все живые силы провинции, превращаясь в центр национальной жизни. Ко всему этому примешалась гордость: показать низверженным властям Ватикана, на что способна Италия, каким блеском засияет новый, третий Рим, который

пройдет два остальные: императорский и папский — великолепием своих улиц и толпой народа.

— Видите ли, мой дорогой друг, — продолжал Нарсис — если бы я стал повторять вам все истории, которые передаются здесь и которые в Риме рассказывают друг другу на ухо, то вы были бы изумлены и пришли бы в ужас, видя, до какого безумия дошел весь этот в сущности очень благоразумный, пассивный и истинный город под влиянием заразного увлечения строительной горячкой. Разорились не один мелкий люд, невежественные и глупые люди: все крупнейшие роды, почти вся римская знать потеряли свои древние состояния, свое золото, дворцы и галереи произведений искусства, которыми она была обязана щедрости пап. Эти колоссальные богатства, для нагромождения которых в одних руках понадобились целые века nepотизма, растаяли как воск менее, чем в десять лет, в разрушающем огне современного ажиотажа.

Потом, забывая, что он говорит со священником, он рассказывал одну, довольно двусмысленную историю.

— Да вот, например, наш добрый друг Дарио, последний из рода Бокканера, принужденный жить на крохи, достающиеся ему от дяди кардинала, у которого нет ничего, кроме жалованья, — у него, конечно, были бы значительные средства, если бы не страшная история с виллой Монтефиори... Вам, вероятно, уже говорили об этом деле: огромная площадь этой виллы была продана за десять миллионов одной компании; потом князь Онофрио, отец Дарио, мучимый жадой спекуляции, втридорога стал снова скупать свои участки, спекулировать ими, и строить дома; потом наступила роковая катастрофа, унесшая вместе с десятью миллионами все, что у него было, остатки некогда колоссального состояния Бокканера... Но вам, вероятно, не говорили о тайных пружинах этого дела, о роли, сыгранной графом Прада, ныне разведенном супруге прелестной контессины, которую мы все ждем. Он был любовником княгини Бокканера, прекрасной Флавии Монтефиори, которая принесла князю в приданое виллу. Это было очаровательное существо, значительно моложе мужа; говорят, что Прада при посредстве жены до такой степени держал в руках мужа, что она прогоняла от себя старого князя в те вечера, когда он не решался дать своей подписи и не хотел более путаться в историю, опасность которой предчувствовал с самого начала. Прада заработал там миллионы, которые теперь приживает очень умно. Что же касается прекрасной Флавии, которая уже успела созреть, то вы знаете, что ей удалось спасти от катастрофы маленькую сумму; потом она любезно отказалась от титула княгини Бокканера и купила себе прекрасного мужчину, второго мужа, который значительно моложе ее и из которого она сделала маркиза Монтефиори. Благодаря ему она сохраняет веселое настроение и свою дебелую красоту, несмотря на то, что ей уже больше пятидесяти лет... Во всем этом деле роль жертвы

досталась только нашему другу Дарио, который совершенно разорился и теперь решил жениться на кузине, несколько не богаче его. Правда, что она любит его и что он не способен не любить ее, пока она любит его. Если бы не это, он давно уже решил бы жениться на какой-нибудь американской миллионерше, подобно многим другим князьям. Этому могли бы воспротивиться только кардинал и донна Серафина, потому что это тоже герои в своем роде, упрямые гордые римляне, стремящиеся сохранить свою кровь от всякой посторонней примеси. Однако, будем надеяться, что наш добрый Дарио и прелестная Бенедетта будут счастливы вместе.

Он замолчал и, сделав несколько шагов в молчании, продолжал тише:

— У меня есть родственник, заработавший около трех миллионов в деле виллы Монтефиори. Ах! как я сожалею, что приехал после этой героической эпохи ажиотажа! Как это, вероятно, интересно и какие смелые удары мог бы наносить хладнокровный игрок!

Но тут он внезапно поднял голову и увидел перед собой новый квартал Крепостных лугов. Лицо его быстро изменилось, в нем снова сказался художник, негодующий по поводу тех ужасных порождений нашего времени, которые изуродовали папский Рим. Глаза его побледнели, губы приняли горькое презрительное выражение мечтателя, оскорбленного в своем пристрастии к исчезнувшим векам.

— Смотрите, смотрите на это! О, город Августа, город Льва X, город вечного могущества и вечной красоты!

Пьер действительно был поражен. Здесь когда-то простирались плоские луга замка св. Ангела. Вдоль Тибра, вплоть до первых склонов горы Марио, их пересекал ряд тополей. Это было обширное излюбленное художниками поле, представляющее фон смеющейся зелени для Борго и отдаленного купола св. Петра. Теперь среди взбудораженной белесоватой равнины виднелся целый город массивных, колоссальных, точно каменные кубы, домов, похожих друг на друга, с широкими улицами, пересекающимися под прямым углом, точно огромная шахматная доска с симметрическими делениями. Из конца в конец повторялись все такие же фасады, напоминающие целый ряд монастырей, казармы или больницы, тождественные линии которых тянулись без конца. Особенно большое удивление, необычайное и тягостное впечатление производила эта непонятная с первого взгляда катастрофа, под влиянием которой этот строящийся город впал в неподвижность, точно в какое-то роковое утро разрушительный волшебник мановением жезла остановил работы, опустошил людные мастерские и оставил постройки в мрачной заброшенности, в таком самом состоянии, в каком они были именно в эту минуту. Здесь можно было найти земляные работы, и виднелись глубокие отверстия, приготовленные для фундаментов, поросшие травой и зияющие

черной глубиной, вплоть до вполне законченных и населенных домов. Были и такие дома, стены которых едва показывались над землей; другие имели два, даже три этажа с железными балками ничем не прикрытых потолков и с открытыми окнами; были там и совершенно законченные, покрытые крышей, точно гигантские, похожие на пустые клетки, остовы, обреченные на борьбу с ветром. Дальше виднелись законченные дома, в которых не успели покрыть штукатуркой стены с внешней стороны; другие были без деревянных частей, без окон и ставней, но забитые, точно крышки гроба, мертвые квартиры, без души живущих в них; наконец, другие были уже населены, в общем очень немного, самыми неожиданными жильцами. Трудно передать печальный вид всего этого города спящей царевны, объята смертельным сном прежде, чем она начала жить, и исчезающей под тяжелым ударами солнца в ожидании пробуждения, которому, повидимому, не суждено было наступить когда-либо.

Вслед за своим спутником Пьер пошел по широким пустынным улицам, на которых царило молчание и неподвижность кладбища. Кругом не было видно ни одного экипажа, ни одного пешехода. На некоторых улицах не виделось даже тротуаров; трава покрывала незамоленную землю, которая напоминала вернувшиеся к естественному состоянию поле; однако, временные газонные рожки уже много лет красовались здесь; это были просто гипсовые трубы, прикрепленные к шестам. По обеим сторонам отверстия этажей были тщательно забиты досками, чтобы не платить налога на окна и двери. Другие только что начатые дома были огорожены частоколом из опасения, чтобы погребая их не стали приютом бандитов всей страны. Особенно грустный вид имели юные развалины, высокие и величественные, неоконченные и непокрытые штукатуркой постройки, которые еще не имели возможности зажечь жизнью каменных гигантов и уже расползались со всех сторон, так что приходилось делать сложные деревянные сооружения, чтобы они не рассыпались на части. Сердце сжималось, точно при виде города, из которого какая-то катастрофа выгнала жителей, чума, война или бомбардировка, следы которой, казалось, виднелись на этих зияющих черными отверстиями остовах. Меланхолия еще более охватывала душу и вызвала бесконечное отчаяние при мысли, что это преждевременное рождение, а не смерть, что разрушение сделало свое дело прежде, чем тщетно ожидаемые жители сообщали жизнь этим мертворожденным домам. Какая-то ужасная ирония скрывалась в величественных мраморных досках, красующихся на углах всех улиц с знаменитыми, заимствованными из истории именами Гракхов, Циннионов, Плиния, Помпея, Цезаря, которые сверкали на этих недооконченных и разрушающихся стенах, точно насмешка, точно пощечина прошедшего бессильному настоящему. Ужасная грусть наполняла душу при воспоминании о великом творческом прошлом, которое дошло до такого признания собственной беспомощности, при мысли о Риме, который покрыл мир своими нераз-

рушимыми памятниками и теперь не рождал ничего, кроме развалин.

— Но, ведь, их когда-нибудь окончат! — вскричал Пьер.

Нарсис посмотрел на него с удивлением.

— Для кого же?

Это были ужасные слова. Где же находились эти пятьсот или шестьсот тысяч жителей, о приходе которых в Рим мечтали и которых все еще ждали? В каких соседних деревнях, в каких соседних городах жили они? Если в начале только патриотический энтузиазм мог внушить надежду на такое увеличение народонаселения в первые дни после завоевания, то теперь только какое-то странное ослепление могло внушить уверенность, что они еще явятся когда-либо. Опыт, казалось, был сделан, число населения в Риме стало неизменным, и нельзя было предвидеть никаких причин, которые могли бы удвоить его; этому не могли содействовать ни удовольствия, ожидающие жителей Рима, ни барыши от промышленности, которой в нем не было, ни интенсивная общественная и умственная жизнь, на которую он, повидимому, не был способен. Во всяком случае для всего этого нужно было много, много лет. В таком случае как же населить законченные и пустые дома, которым недоставало только жильцов? Для кого оканчивать дома, только остовы которых были готовы и которые рассыпались от солнца и дождя? Значит, они до бесконечности будут оставаться там; одни — совершенно обнаженные, подверженные всем невзгодам, другие — запертые, немые, точно могилы, жалкие и безобразные своей бесполезностью и заброшенностью? Какое ужасное свидетельство под сияющими лучами солнца! Новые властители Рима избрали ложное направление и, если бы они знали теперь, что следовало делать, то вряд ли решились бы разрушить дело рук своих. Так как затраченный миллиард был, повидимому, окончательно потерян, то начали мечтать о том, что придет какой-нибудь обладающий властной волей Нерон, который возьмет факел и кирку, сожжет и сравняет с землей все во имя разума и красоты.

— А! — воскликнул Нарсис, — вот контессина и князь.

Бенедетта приказала остановить карету на углу пустынных улиц и шла, опираясь на руку Дарио, по этим широким спокойным дорогам, поросшим травой и точно созданным для влюбленных. Оба они были в восторге от прогулки, совершенно не думая о тех печальных вещах, которые они пришли увидеть.

— Какая чудная погода! — сказала она, весело обращаясь к друзьям. — Посмотрите на этот мягкий свет солнца!.. Так приятно немножко пройти пешком, точно в деревне.

Дарио первый перестал улыбаться голубому небу и удовольствию настоящей минуты, когда он мог гулять под руку с кузиней.

— Дорогая моя! нужно, однако, посетить этих людей, если ты упрямо хочешь исполнить свой каприз, который, несомненно, испортит нам этот прекрасный день... Постой, надо ориентироваться. Вы знаете, я не особенно силен в топографии тех мест,

есть не люблю ходить... К тому же этот квартал со своими мертвыми улицами и мертвыми домами совершенно невыносим: здесь нет ни одного знакомого лица, ни одной лавочки, которая могла бы вынести на дорогу... Мне кажется, нужно идти сюда. Идите за мной и мы увидим.

Четверо пешеходов направились к центральной части квартала, выходящей на Тибр, где дома уже начали заселяться. Домовладельцы старались извлечь из оконченных домов прибыль, какую только было; они отдавали квартиры по очень дешевой цене и не особенно негодовали, если приходилось ждать платы. Здесь устраивались нуждающиеся, лишенные средств семьи, которые платили очень неаккуратно, но все же от времени до времени давали кое-какие гроши. Но гораздо хуже было то, что вследствие уничтожения древнего Гетто и тех выемок, при помощи которых хотели освежить воздух Транстевера, целые полчища оборванцев, лишенных куска хлеба, одежды и крова, обрушились на эти недостроенные дома и наполнили их своими страданиями и грязью; приходилось, однако, закрыть глаза и терпеть этот наглый захват, потому что в противном случае вся эта ужасная нищета была бы вынесена на улицу. Итак, этим ужасным хозяевам достались эти многочисленные четырех или пятиэтажные дворцы с монументальными, украшенными высокими статуями входами, с украшенными скульптурной работой и опирающимися на кариатидах балконами, которые занимали весь фасад. Деревянных частей окон и дверей не было; всякая поселившаяся семья этого жалкого люда устроивалась на свой лад, нередко забивая окна досками и закрывая двери лохмотьями, занимая целый княжеский этаж или же несколько комнатки, где можно было устроиться по-своему.

Дарио два раза заставлял своих спутников возвращаться назад. Он путался и с каждой минутой становился все мрачнее.

— Мне следовало свернуть налево. Но как тут сообразить? Разве это возможно в такой обстановке?

Они увидели кучки вшивых детей, валяющихся в пыли. Это были необычайно грязные, почти голые существа с черным телом и исключенными, точно комок конских волос, головами. По времени они встречали женщин в грязных юбках и изодранных лифах, через которые виднелись бока и груди надорванных кляч. Большинство из них стояло, беседуя резким голосом; другие сидели на старых стульях, положив руки на колени и проводили так целые часы, ничего не делая. Мужчин встречалось очень мало. Некоторые из них лежали в стороне, уткнувшись носом в порывленную траву и спали тяжелым сном на солнцепеке.

В особенности запах становился тошнотворным; это было зловоние неопрятной нужды опустившегося человеческого стада, живущего в своей собственной грязи. Зловоние усилилось еще более от испарения маленького импровизированного рынка, через который им пришлось переходить и на котором видне-

лись испорченные фрукты, кислые вареные овощи и несвежие кушанья с застывшим прогорклым жиром. Бедные торговки продавали все это на земле, среди толкотни голодных мальчишек.

— Я, наконец, ничего не соображаю, моя дорогая! — вскричал князь, обращаясь к кузине. — Будь благоразумна, мы ведь видели уже довольно, вернемся к карете!

Он страдал на самом деле и, по словам самой Бенедетты, совершенно не умел страдать. Отравлять жизнь подобной прогулкой казалось ему нелепым, чудовищным преступлением. Жизнь существует для того, чтобы прожить ее мило и легко под ясным небом. Ее нужно разнообразить только изящными зрелищами, пением и танцами. Его наивный эгоизм внушал ему такой ужас ко всему некрасивому, бедному и страдающему, что один подобный вид причинял ему страдание, вызывал какую-то нравственную и физическую усталость.

Но Бенедетта, трепещущая подобно ему, хотела показать Пьеру свое мужество. Взглянувши на него, она прочла на его лице такой интерес, столько страстного сострадания, что не уступила искушению, стремясь разделить его симпатии к несчастным и смиренным.

— Нет, нет, нужно остаться, милый Дарио... Ведь эти господа хотят все видеть, не правда ли?

— О! — сказал Пьер, — истинный Рим находится здесь и знакомство с этим кварталом знакомит с Римом гораздо больше, чем все классические прогулки среди развалин и памятников.

— Вы преувеличиваете, мой друг, — заявил в свою очередь Нарсис, — но я все-таки готов признать, что это интересно, очень интересно... В особенности старухи! Ах, сколько экспрессии у этих старух!

В этот момент Бенедетта не могла сдержать крика радостного удивления, заметив впереди величественную красавицу.

— *O che bellezza!*

И Дарио, узнав ее, вскричал с восторгом:

— А! Это Пьерина... Она проведет нас.

Немного спустя девушка шла за группой гуляющих, не смея подойти к ним ближе. Ее пылающий взгляд остановился на князе, сверкая радостью влюбленной рабыни; потом она быстро взглянула на контессину, но без всякого гнева, с какой-то нежной покорностью и чувством смиренного счастья, видя ее тоже очень красивой. Она, действительно, была такова, какой ее описывал князь: высокого роста, крепкая, с грудью богини, настоящая Юнона, античная статуя с слишком большим подбородком, совершенно правильным носом и ртом, волоокая, с ослепительно прекрасным лицом, точно позолоченным лучом солнца, и под шапкой тяжелых черных волос.

— Так ты проводишь нас? — спросила ее, фамильярно улыбаясь Бенедетта, которую уже вознаградила за все окружающее

образные мысль о том, что могут существовать подобные со-
бытия.

— Да, сударыня, да! сейчас!

И она побежала вперед. На ней были башмаки без дыр и старое шерстяное платье коричневого цвета, которое она, очевидно, недавно вымыла и починила. Во всей ее наружности заметна была некоторая кокетливая заботливость, стремление к чистоте, которого не было у других. Впрочем, может быть, по-настоящему ее величественная красота сияла в этой бедной одежде и придавала ей вид богини.

— Che bellezza, che bellezza! — не переставала повторять принцессина, следуя за ней. — Смотреть на эту девушку просто наслаждение, не правда ли, мой милый Дарио?

— Я знал, что она понравится тебе! — просто ответил он, восхищенный своей находкой, уже не предлагая уйти, потому что сами его могли с удовольствием остановиться на приятном месте.

За ними шел восхищенный Пьер, которому Нарсис сообщал требования своего вкуса, особенно склонного ко всему редкому и изысканному.

— Да, да, она несомненно прекрасна... Но только этот их римский тип в сущности тяжел, в нем нет души, нет ничего человеческого... Под их кожей есть кровь, но нет неба.

В это время Пьерина остановилась и указала рукой на свою мать, сидящую на опрокинутом ящике перед высокой дверью недостроенного дворца. Она тоже в молодости была, вероятно, очень красива, но в сорок лет превратилась совершенно в развалину; глаза ее потухли от нищеты, губы исказились, зубы почернели, лицо покрылось большими мягкими складками, огромная грудь отвисла. Она была ужасно грязна; ее седеющие волосы были растрепаны и вились прядями, сквозь прорехи грязной юбки и кофточки виднелись грязные члены. На коленях она держала уснувшего грудного младенца, самого младшего из своих детей. Она смотрела на него прищипленным взглядом потерявшего всякое мужество существа, с видом животного, покорно встречающего свою смерть, взглядом матери, которая родила и вскармливала своих детей, но не знает для чего сделала это.

— Хорошо, хорошо, — сказала она, поднимая голову, — это вот господин, который дал мне золотой, потому что увидел тебя плачущей. Теперь он пришел к нам вместе со своими друзьями. Хорошо, хорошо, значит есть еще на свете добрые люди.

Потом она спокойно рассказала историю своей семьи, совершенно не стараясь разжалобить пришедших. Ее звали Джиа-чанта, она вышла замуж за каменщика Томмазо Гоццо, от которого у нее было семь душ детей: Пьерина, потом Тито, теперь семнадцатилетний здоровенный парень и еще четыре дочери, через каждые два года, и, наконец, опять мальчик, который лежал у нее на коленях. Они очень долго жили в одной и той же

квартире на Транстевере, в старом, теперь уже разрушенном доме. После того и их жизнь как будто разрушилась; с тех пор, как они перебрались на Крепостные луга, все несчастья поражали их: сперва пришел страшный строительный крах, отнявший работу у Томмазо и Тито, потом закрылась фабрика восковых бус, на которой Пьерина зарабатывала до двадцати су в сутки, что предохраняло семью от голодной смерти. Теперь никто из них не работает и семья живет как придется.

— Может быть, барыня и господа пожелают зайти? Вы найдете там Томмазо и его брата Амброджио, которого мы принимали к себе, они лучше умеют говорить и скажут вам все, что нужно. Но что поделаете: Томмазо отдыхает и то же самое делает Тито; он спит потому, что ему нечего больше делать.

Она показала рукой рослого детину, вытянувшегося в сухой траве, с большим носом, грубым ртом и чудными глазами Пьерини. Он ограничился тем, что поднял голову, обеспокоенный присутствием этих людей. Лоб его дико нахмурился, когда он увидел, какими восторженными глазами Пьерина смотрит на князя. Он опустил голову, но, не смыкая глаз, следил за ними.

— Пьерина, проводи же барыню и этих господ, если они хотят видеть.

К ним подошло несколько женщин в туфлях, надетых на босую ногу; кругом кишели целые полчища детей, полуодетых девочек, среди которых были, вероятно, и четыре дочери Джаинтинты. Все они были до такой степени похожи друг на друга со своими черными глазами под спутанными густыми волосами, что только матери могли различать их. Это был целый муравейник, табор кишеты среди яркого света солнца, на этой величественной разрушенной улице, окаймленной недоконченными и уже разрушающимися дворцами.

Бенедетта тихо обратилась к своему кузену и с явной нежностью сказала:

— Нет, ты не иди с нами... Я не хочу твоей смерти, Дарио... С твоей стороны и так очень любезно, что ты пришел сюда, подожди меня здесь на этом чудном солнце. Господин Абер и господин аббат будут сопровождать меня.

Тогда и он начал смеяться, охотно приняв предложение, закурил папиросу и стал прогуливаться мелкими шагами, наслаждаясь ласкающим воздухом.

Пьерина торопливо вошла в обширный портик с высоким сводом, украшенным кессонами с розетками. Но в вестибюле на мраморных ступеньках, которые здесь начали прокладывать, лежал целый слой какого-то навоза. Дальше вела монументальная каменная лестница, со сквозными, лепными перилами; здесь и ступеньки уже были поломаны и покрыты таким толстым слоем нечистот, что казались совершенно черными. Повсюду виднелись следы жирных рук. От неотделанных стен, которым не доставало позолоты и красок, веяло зловонием.

На обширной площадке бельэтажа Пьерина остановилась и вступила в отверстие огромной зияющей двери без створок и широкой коробки:

— Отец! тут одна дама и господа хотят видеть тебя.

Потом, обращаясь к конфессине, она прибавила:

— В самом конце, в третьей зале.

И она исчезла, спустившись по лестнице гораздо быстрее, чем поднималась, торопясь туда, куда влекла ее страсть.

Бенедетта и ее спутники прошли через две огромные залы, залу, усеянному кусками штукатурки, среди выходящих в пространство окон. Наконец, они попали в следующий поменьше, где расположилась вся семья Гоццо среди всяких вещей, которые служили им мебелью. На полу, на обивочных баках, валялось пять или шесть грязных, изъеденных потом тряпок. Впереди стоял длинный еще крепкий стол, а также несколько старых поломанных стульев, связанных веревками. Больше всего труда, очевидно, стоило забить досками два окна, причём третье окно и дверь были закрыты старой обшивкой матраца, испещренную пятнами и прорехами.

Старый каменщик Томмазо казался изумленным. Очевидно, он совершенно не привык к подобным благотворительным начинаниям. Он сидел за столом, положив на нем локти и опустив подбородок на руки, очевидно, отдыхая, как говорила жена его Джачинта. Это был здоровенный детина лет сорока пяти, с большой бородой и длинными волосами, с большим продолговатым лицом, которое, несмотря на нищету и праздность, сохраняло ясность лица римского сенатора. При виде двух иностранцев, которых он сразу узнал, он поднялся недоверчиво, глядя на них. Но, узнавши Бенедетту, он улыбнулся, и когда она стала говорить ему об оставшемся внизу Дарио, объясняя благотворительную цель своего прихода, он ответил:

— О! я знаю, знаю, контессина... Да, я хорошо знаю, кто такая, потому что еще при жизни отца я проделывал окно во дворце Бокканера.

Потом он стал снисходительно давать объяснения и ответил изумленному Пьеру, что они живут не особенно счастливо, но что все-таки можно бы жить, если бы работы хватило хоть на два зня в неделю. Ясно было, что он в сущности рад возможности жить без хлопот, как заблагорассудится, хотя бы ценой лишения. Это напоминало историю с одним слесарем, отказавшимся открыть одному путешественнику замок чемодана, ключ к которому был потерян, под тем предлогом, что он ни за что не станет беспокоиться в часы послеобеденного сна. За квартиру не приходилось платить, потому что были пустые, открытые для бедняков дворцы, а нескольких су бьюю вполне достаточно для пропитания при их воздержанности и нетребовательности.

— О, господин аббат! дела шли гораздо лучше во времена папы... Мой отец был таким же каменщиком, как и я, и всю

жизнь проработал в Ватикане; еще и теперь, если мне случается найти работу на несколько дней, то только там... Видите ли, папа избаловали десять лет этих огромных работ, когда мы не сходили с лестницы и зарабатывали, сколько хотели. Конечно, мы лучше ели, лучше одевались, не отказывали себе ни в каком удовольствии и теперь довольно трудно терпеть лишения... Но если бы вы, господин аббат, увидели нашу жизнь во времена папы! Никаких налогов, все доставалось даром, нужно было только хотеть жить.

В эту минуту в тени забитых окон на тюфяке слышалось какое-то ворчание и каменщик продолжал своим спокойным медным тоном:

— Это мой брат Амброджио не соглашается с моим мнением... Он был на стороне республиканцев в 49 году, когда ему было 14 лет... Но это ничего не значит, мы взяли его к себе, когда узнали, что он умирает в погребке от голода и болезни.

Посетители невольно вздрогнули от жалости. Амброджио был старше брата на 15 лет и в 60 лет был развалиной, пожираемый жаром, и с таким трудом волочил за собой ноги, что по целым дням не покидал своего тюфяка. Он был меньше, худее и горячее своего брата, по ремеслу столяр. Несмотря на полное физическое разрушение, у него была необычайного вида голова и лицо апостола или мученика, с благородным и трагическим выражением, в оправе седой взъерошенной бороды и волос.

— Папа, папа... проворчал он,—я не говорил никогда ничего дурного о папе. Однако, он виноват в том, что тирания все еще продолжается. Он один мог дать нам в 49 году республику, и не дошло бы до того, до чего дошли теперь.

Он знал Мадзини и сохранил его туманную религиозность, мечту о республиканском папе, который водворит на земле свободу и братство. Но потом он страстно привязался к Гарибальди, вследствие чего его первое представление было разрушено и он стал считать папу недостойными, неспособными содействовать освобождению человеческого рода. Теперь он уже сам не знал чего держаться; с одной стороны, он находился под влиянием своих юношеских мечтаний, с другой—сурового жизненного опыта. Впрочем, он всегда действовал под влиянием страстного увлечения и ограничивался громкими словами и смутными неопределенными пожеланиями.

Пьер слушал с живым интересом и, наконец, решил задать один вопрос:

— Много ли социалистов в Риме, среди народа?

На этот раз пришлось еще дольше ждать ответа.

— Социалисты, батюшка, есть, конечно, но только их гораздо меньше, чем в других городах... Это новинка, привлекающая нетерпеливых, которые не особенно хорошо понимают в чем дело. Мы, старики, стояли за свободу, а не за пожары и убийства?

В душе его проснулось опасение, что он сказал слишком много перед этой дамой и господами. Он вытянулся на своем месте и начал стонать, а графиня, которую мучила вонь, стоящая в комнате, распрощалась и стала уходить, предупредив Пьера, что гораздо лучше будет отдать милостыню внизу жене камердинера.

Тамбондо уже занял свое обычное место за столом и, положив подбородок на руки, кланялся гостям, так же мало обращая внимания на их уход, как и на приход.

— До свидания! Очень рад, что угодил вам.

На пороге энтузиазм овладел Нарсисом и он оглянулся, с восторгом глядя на голову старого Амброджио.

— Ах, дорогой аббат, какой шедевр! Вот так чудо, вот так красота! Это несравненно менее банально, чем лицо той девушки. Здесь уж я уверен, что различие полов не готовит мне какой-нибудь грязного искушения... Я не волнуюсь по каким-нибудь изменным причинам... И, кроме того, откровенно говоря, какая бесконечность в этих морщинах, сколько неведомого скрывается в этих затуманившихся глазах, какой таинственности полны эти всклокоченная борода и волосы! Невольно приходишь в голову какой-нибудь пророк, бог, или сам отец!

Пьеру Джиначинта все еще сидела на полуразрушенном ящике со своим младенцем на коленях; в нескольких шагах от нее стояла Пьерина и с восторгом смотрела на Дарио, докуривающего свою папиросу, а Тито, попрежнему лежащий на траве, не отрывая с них глаз, точно насторожившееся животное.

— Ах, сударыня!—начала мать своим покорным голосом,— вы сами видели, что там совсем нельзя жить. Единственное счастье, что у нас вдоволь места. Но зато по утрам и по вечерам сквозняки, от которых можно умереть. Кроме того, я постоянно боюсь за детей, как бы они не попали в дыры.

Бенедетта всунула свою милостыню в руку матери, то же самое сделали Нарсис и Пьер, желая разделить с ней доброе дело. В это время Дарио, следовавшему примеру своей кузины, пришел в голову очень милая мысль. Желая не забыть Пьерину, которой он не решился предложить денег, он слегка прикоснулся щеками к губам и с легкой улыбкой сказал:

— Красоте!

Этот воздушный поцелуй и легкая насмешливая улыбка любящего князя, тронутого немым обожанием бедной работницы, были очень милы и красивы и напоминали любовную историю молодого времени.

Пьерина покраснела от удовольствия и, потеряв голову, бросилась к руке Дарио и необдуманном движением, в котором чувствовалась божественная признательность и нежная любовь, прильнула к его руке горячими губами. В эту минуту глаза Тито

гневно сверкнули, он грубо схватил сестру за платье и, отбросив ее в сторону, глухо проворчал:

— Ты знаешь, я убью и тебя, и его!

Нужно было уходить поскорее, потому что другие женщины, почуяв деньги, подошли, протягивая руки и толкая вперед плачущих детей. Жалкий квартал огромных покинутых построек охватило волнение, мертвые улицы с мраморными дощечками оглашались печальными возгласами. Что было делать? Нельзя было дать всем. Оставалось только бежать с душой, полной печали, при виде исхода, к которому приводила бессильная благотворительность.

Вернувшись в карету, Бенедетта и Дарио поспешили сестре в нее, прижавшись друг к другу, обрадованные тем, что отделались от этого кошмара. Бенедетта была довольна, что показала свое мужество Пьеру и, как растроганная ученица, пожалала ему руку, когда Нарсис заявил, что берет священника с собой, чтобы позавтракать в маленьком ресторане на площади св. Петра, откуда такой интересный вид на Ватикан.

— Выпейте белого вина Джэнзано! — крикнул им Дарио, к которому вернулось его прежнее веселье. — Это самое лучшее средство для того, чтобы отогнать черные мысли.

Но любопытство Пьера к подробностям было неистощимо. По пути он еще расспрашивал Нарсиса о народонаселении Рима, его жизни, привычках и нравах. Образование поставлено очень слабо. При этом нет никакой промышленности, никакой внешней торговли. Мужчины занимаются мелкими ремеслами, все потребление исчерпывается местным рынком. Среди женщин одни делают жемчуг из воска, другие вышивают; кроме того, производство религиозных предметов, медалек, четок и ювелирных изделий дает работу довольно значительному числу рабочих. Но как только девушка выходит замуж, она становится матерью целой кучи детей, растущих точно чудом, и перестает работать. Вообще, народ этот живет, как придется, работает лишь столько, сколько это необходимо, чтобы иметь возможность питаться, довольствуясь овощами, макаронами, плохой бараниной, и при этом не протестует, не питает никаких честолюбивых планов на будущее и, живя со дня на день, заботится только о своей текущей жизни. У них есть лишь два порока: игра, а также красное и белое вина, приносящие с собой ссоры и убийства. По праздникам, вечерами, после выхода из кабаков, улицы усеяны хрипящими людьми, тела которых пронизаны ударами кинжалов. Девушки очень редко сбиваются с пути и всех, которые отдавались до брака, можно сосчитать по пальцам. Это происходит вследствие того, что семья живет в большом единении и подчинена неограниченной власти отца. Братья сами следят за честностью сестер, подобно Тито, так грубо обошедшемуся с Пьерриной, который охранял ее с диким усердием отнюдь не из тайной ревности, но под влиянием заботливости о доброй славе и

чести семьи. При этом полное отсутствие настоящей религиозности, детское идолопоклонничество; все сердца обращаются к мадонне и святым, они одни существуют, им одним возносят молитвы, но никому не придет в голову подумать о боге.

Косность этого народа объясняется очень просто. В прошлом у него были целые века поощряемой лени, удовлетворяемого тщеславия и возможности легкого существования. Если кто-нибудь из них не был ни каменщиком, ни столяром, ни будочником, то был лакеем и служил у священника, посредственно или непосредственно кормясь от папского престола. Так образовались две резко отличающиеся партии: прежние карбонари, которые современем стали приверженцами Мадзини и Гарибальди, избранный и наиболее многочисленный класс жителей Трастевера; затем следовали клиенты Ватикана, все те, кто жил косвенно или непосредственно на счет церкви и сожалел о том времени, когда папа был королем. Но и для одних и для других все это представлялось лишь мнением, о котором можно спорить, но никому из них не пришла бы в голову мысль сделать усилие, подвергнуться какому-нибудь риску. Нужна какая-нибудь внезапная страсть, которая уничтожила бы основательную практичность расы и побудила бы ее к какому-нибудь непродолжительному взрыву безумия. Но к чему? Нищета тянется уже столько веков, небо такое голубое и в теплые часы сон лучше всего! За это время было, повидимому, сделано одно приобретение: патриотизм получил прочную основу, и у столицы Рима, этого возвращенного города, снова было прочное большинство, так что в Лувинном городке чуть было не началось возмущение, когда стали ходить слухи о соглашении между Италией и папой, основанном на восстановлении светской власти над этим городом. Если нищета, повидимому, увеличилась, если римский рабочий жаловался все более, то это происходило потому, что он ничего не выиграл вследствие тех колоссальных работ, которые продолжались на его глазах более 15 лет. Сначала на город обрушилось более 40 тысяч рабочих, по большей части пришедших с севера, которые работали по более дешевой цене, были более выносливы и отважны. Потом, когда и римский народ принял участие в работах, он стал жить лучше, не думая о сбережениях, так что, когда наступил кризис и пришлось выслать на родину сорок тысяч пришедших из провинции рабочих, то он снова, как прежде, очутился в мертвом городе, в котором мастерские были закрыты и нельзя было надеяться получить продолжительную работу. Таким образом он впал в прежнее состояние безделья, довольный в глубине души, что его не особенно беспокоят работой, и снова стал устраиваться как можно лучше со своим вечным спутником — нищетой, живя без гроша в кармане, но с видом большого барина.

Особенно поразил Пьера различный характер нищеты в Париже и Риме. Несомненно здесь лишения были больше, нища

более отвратительна и грязь более отталкивающая. Но почему же эти ужасные бедняки сохранили больше довольства и веселия? Когда ему вспоминалась парижская зима, эти посещаемые им лагуи, куда проникал снег, где дрожали от холода целые семейства без хлеба и огня, он чувствовал, что сердце его сжимается от безумного сострадания, которого он не испытывал так сильно на Крепостных лугах. Потом ему стало понятно: римской бедноте не приходится мерзнуть. Ах, да! Какое кроткое и вечное утешение доставляет вечно сияющее солнце, благотворное, всегда голубое, точно из любви к несчастным, небо. Какое значение имеет отвратительное жилье, если можно спать на открытом воздухе, под ласкающим дуновением теплого ветерка! Что значит голод, если семья может ждать случайной милостыни на освещенных солнцем улицах, в сухой траве! Благодаря климату народ этот очень воздержан, у него нет потребности ни в алкоголе, ни в мясе для борьбы с туманами. Проводя время в божественной праздности, человек улыбался сияющим золотом вечерам, и сама бедность становилась свободным наслаждением в этом роскошном воздухе, где всему живущему, повидимому, было вполне достаточно самого счастья жизни. В Неаполе, по словам Нарсиса, в приморском квартале и квартале св. Люции с узкими зловонными улицами, завешанными сохнувшим бельем, вся жизнь народа протекает под открытым небом. Женщины и дети, не живущие непосредственно на улице, проводят время на легких деревянных балконах, пристроенных ко всем окнам. Там они занимаются питьем, поют и моются. При этом улицы играют роль общей горницы: здесь одеваются мужчины и полуобнаженные женщины чешут своих детей и чешутся сами,—одним словом, здесь живет вечно голодающее население, для которого постоянно накрыт стол. На маленьких столиках, в тележках постоянно продается дешевая еда: перезревшие овощи и арбузы, жаренные пироги, вареные овощи, жареная рыба, ракушки,—целая, постоянно готовая среди толкотни кухня, дающая возможность питаться на открытом воздухе, никогда не разводя огня. Кругом вечно кишачая толпа, жестикулирующие матери, отцы, сидящие рядом вдоль тротуаров, без усталости бегающие дети,—и все это среди адского шума, крика, песен, музыки,—одним словом, самая необычайная беззаботность. Хриплые голоса раздражаются громким смехом, загорелые, некрасивые лица с чудными, сверкающими радостью жизни глазами под черными, как смоль, всклокоченными волосами! Бедный веселый народ, невежественный, точно дитя! Его единственное желание—иметь несколько су, необходимых для того, чтобы утолить свой голод на этом постоянном рынке. Конечно, еще никогда не было менее сознательной демократии. Так, как они, говорили политические деятели, сожалеют о прежней монархии, во время которой их права на эту беззаботную жизнь были, по их мнению, более обеспечены, то к чему трудиться для них, зачем вопреки их желанию

бороться для того, чтобы доставить им больше знания и развить сознание, чтобы обеспечить им благосостояние и человеческое достоинство. Однако, при виде этого веселья умирающих с голоду людей среди опьяняющих и обманывающих лучей солнца, Пьером овладела бесконечная печаль. Конечно, это прекрасное небо удлиняло детское состояние этого народа; благодаря ему не пробуждалось самосознание демократии. Несомненно, что и в Неаполе, и в Риме они страдали от лишений, но в душе их не было злобы, вызванной жестокими зимними днями, не было черной зависти при воспоминании о том, что они дрожали от холода в то время, как богатые грелись перед большим огнем; они не знают яростных мечтаний, преследующих бедняков в лачугах, куда проникает снег, при свете потухающей свечи; им неизвестна потребность искать правосудия, сознание обязанности возмутиться, чтобы спасти жену и детей от чахотки, чтобы доставить и им теплое гнездышко, где можно было бы существовать. Ах! Эта мерзнущая нищета,—это верх социальной несправедливости, самая ужасная школа, в которой бедняк учится познавать свои страдания, негодует на них и дает себе клятву уничтожить их, хотя бы ценой гибели старого мира.

Не переставая разговаривать, Пьер и Нарсис дошли до площади св. Петра и уселись у дверей ресторана, в котором они уже раз завтракали, за маленьким, покрытым скатертью сомнительной чистоты столиком, целый ряд которых стоял вдоль тротуара. Но вид был, действительно, великолепный: впереди—собор, направо, над царственной колоннадой,—Ватикан. Пьер тотчас поднять глаза и стал смотреть на преследующий его Ватикан, на этот второй этаж с вечно запертыми окнами, где жил папа и где никогда не видно было ничего живого. Когда лакей принялся за свое дело и начал с того, что принес закуску—анчоусы и укроп, Пьер легким возгласом обратил внимание Нарсиса:

— О! Посмотрите, мой друг... Там, в том окне, которое, как мне говорили, находится в комнате святого отца... Вы не видите там бледного, неподвижного лица?

Молодой человек засмеялся.

— Да! Это, вероятно, сам святой отец. Вы так жаждете видеть папу, что ваше желание вызывает его.

— Уверю вас,—повторил Пьер,—что за этим окном какое-то бледное лицо смотрит на нас.

Нарсис, который был очень голоден, ел, не переставая шутить. Потом внезапно сказал:

— Итак, мой милый, папа смотрит на нас,—значит теперь самое подходящее время поговорить о нем... Я обещал рассказать вам, как он потерял миллионы наследства св. Петра во время ужасной финансовой катастрофы, развалины, оставшиеся от которой, вы видели. Но посещение Крепостных лугов будет неполно, если вы не узнаете этой истории, которая до некоторой степени является его довершением.

Не переставая есть ни на секунду, он стал пространно рассказывать. После смерти Пия IX капитал св. Петра превышал сумму 20 миллионов. Кардинал Антонелли, который занимался спекуляциями и делал хорошие дела, долго держал эти деньги отчасти у Ротшильдов, отчасти в руках различных нунциев, обязанностью которых было таким образом умножать капиталы за границей. Но после смерти кардинала Антонелли заместитель его, кардинал Симеони, вытребовал деньги от нунциев, чтобы поместить их в Риме. Тогда-то, немедленно после вступления на престол, Лев XIII учредил специальную, состоящую из кардиналов, комиссию для заведывания имуществом св. Петра и назначил секретарем ее монсиньора Фольки. Этот прелат, игравший выдающуюся роль в течение 12 лет, был сыном чиновника папской канцелярии, приобретшего ловкими спекуляциями и оставившего сыну миллионное наследство. Он унаследовал ловкость отца и вскоре выказал себя первостепенным финансовым деятелем, так что комиссия постепенно передала ему все свои полномочия и дала ему возможность действовать всецело по своему усмотрению, довольствуясь утверждением доклада, который он представлял на каждом собрании. Так как капиталы давали только миллион рент, а расходы простирались до 7 миллионов, то нужно было найти где-нибудь 6 недостающих. Во время получения лепты св. Петра, папа ежегодно давал монсиньору Фольки три миллиона, который чудесным образом удваивал их при помощи умелых спекуляций и выгодного помещения капиталов, так что бюджет сходился без заимствования из капиталов св. Петра. Так, например, в первое время он получал значительную прибыль, спекулируя в Риме земельными участками. Он покупал акции всех новых предприятий: мельниц, омнибусов, водопроводов и спекулировал ими, кроме того играл на бирже вместе с католическим римским банком. Восхищенный такой ловкостью, папа, который до того времени спекулировал на свою руку через доверенное лицо, некоего Стербини, оставил его и поручил монсиньору Фольки пустить в оборот и его деньги, так как он с такой ловкостью обращается с деньгами св. престола. Это был период больших милостей для прелата, апогей его всемогущества. Но пришли черные дни, почва уже колебалась и вскоре точно гром должна была разразиться катастрофа. К несчастью, одна из операций Льва XIII состояла в том, что он ссужал крупные суммы римским князьям, которые, не имея денег, но под влиянием стремления к азартной игре, приняли участие в спекуляциях земельными участками и постройками. Вместо обеспечения они давали акции, так что, когда наступила катастрофа, у папы остались в руках лишь клочки бумаги. Кроме того, полной неудачей окончилась также попытка создать кредитное учреждение в Париже, чтобы среди набожных и аристократических клиентов поместить облигации, которых нельзя было сбыть в Италии. Чтобы привлечь легковверных, говорили, что папа уча-

ствует в деле. Самое худшее было то, что он потерял более трех миллионов. Вообще положение становилось еще более критическим вследствие того, что папа поместил находящиеся в его распоряжении миллионы в тех ужасных спекуляциях, которые разыгрывались в Риме перед окнами Ватикана. Он сделал это под влиянием страсти к игре, а также, может быть, в смутной надежде, что ему удастся при помощи денег завоевать этот недавно отнятый у него силой город. Ответственность всецело лежала на нем, потому что монсеньор Фольки никогда не начинал рискованного предприятия, не испросив его согласия; в виду этого истинным виновником катастрофы был сам папа, благодаря своей жадности к прибыли, благодаря своему гордому желанию дать церкви всемогущество крупного капитала. Но, как всегда бывает, прелат поплатился за все ошибки. У него был повелительный и тяжелый характер; кардиналы, участвующие в комиссии, не любили его и считали заседания совершенно бесполезными, так как он действовал совершенно самостоятельно и им оставалось собираться только для того, чтобы одобрить те операции, о которых ему заблагорассудится довести до их сведения. Когда разразилась катастрофа, против него составили заговор, кардиналы стали пугать папу дурными слухами и заставили монсеньора Фольки дать отчет перед комиссией. Положение было очень скверное и нельзя было избежать крупных потерь. Он впал в немилость и с тех пор тщетно умолял об аудиенции Льва XIII, который сурово отказывался принять его, как бы желая наказать за их общее заблуждение, за ослепившую их страсть к наживе; однако, Фольки никогда не пришло в голову жаловаться; он остался попрежнему очень набожным, преданным и подчинился решению папы, не выдавая своих тайн. Никто не может с точностью определить какая часть капиталов св. Петра была потеряна во время этой сумятицы, когда Рим превратился в игорный дом; одни определяют потерю только в десять миллионов, другие доходят до тридцати. Очень вероятно, что действительная потеря простирается до 15 миллионов.

После котлет с томатами лакей принес жареного цыпленка, и Нарсис заключил свой рассказ словами:

— Да! теперь эти убытки уже покрыты: я уже говорил вам о значительных суммах, получаемых с лепты св. Петра, истинные размеры которой известны только папе,—он один распоряжается ими... Впрочем, он не исправился: я знаю из верного источника, что он все еще играет, но только осторожнее, вот и все. У него и теперь есть доверенное лицо, некий прелет Марцоллини, который, как мне кажется, ведет все денежные дела его... И он прав, мой милый! Нужно считаться с условиями времени, чорт побери!

Пьер слушал его со все возрастающим удивлением, к которому примешивалось чувство ужаса и печали. Все это, ко-

печно, было вполне естественно, даже законно; но когда он мечтал о духовном пастыре, далеком и высоком, свободном от всех земных забот, ему не приходило в голову, что все это должно существовать. Как! этот папа, духовный отец всех страждущих и смиренных людей, спекулирует земельными участками, биржевыми акциями. Этот заместитель апостола, христосов первосвященник, ставленник евангельского христа, божественный друг бедных, играет на бирже, помещает деньги у еврейских банкиров, занимается ростовщичеством, берет проценты! Там, наверху, в одной из комнат Ватикана, в каком-нибудь потайном ящике скрывается столько миллионов, которые постоянно пускаются в оборот и приносят прибыль, постоянно помещаются и перемещаются снова, чтобы получить ее больше, точно золотые яйца, которые со страстной нежностью несет какая-то курица! И тут же внизу, в этих отвратительных незаконченных постройках нового квартала, скрывается столько нищеты, столько людей умирает с голода среди нечистот, мужчины принуждены к безделью вследствие безработицы, у матерей нет молока для их младенцев, старики умирают точно животные, которых убивают, когда они становятся никому не годны... О, боже любви и милосердия! неужели это возможно? Конечно, у церкви есть материальные потребности, она не может жить без денег и план, направленный к тому, чтобы приобрести для нее сокровища, дающие возможность победоносно бороться с противниками, полон благоразумия и высшей политики. Но зато это оскорбляет лучшие чувства и бросает на церковь тень, лишает ее божественного царства и превращает в партию, в огромную международную ассоциацию, созданную для того, чтобы завладеть миром и покорить его.

Но Пьера еще больше удивляло это необычайное положение вещей. Приходила ли кому-нибудь в голову более поразительная, более неожиданная драма? Этот папа, старательно затворяющийся в своем дворце, правда, представляющем из тебя тюрьму, но тюрьму, сотнями окон глядящую на необъятное пространство, на Рим, Кампанию и отдаленные холмы, этот папа всякое время дня и ночи, в течение целого года, обнимает единым взором, постоянно видит у своих ног отнятый у него город, возвращения которого он требует непрерывным жалобным криком. Он с самого начала работ присутствовал при превращениях, с каждым днем изменявших город, видел прорезанные новые улицы, разрушение старых кварталов, продажу участков, постепенное возникновение со всех сторон новых построек, окружавших в конце концов древние красочные крыши белым поясом. И вот при виде этого постоянного зрелища, при виде этой безумной строительной горячки, за которой он мог наблюдать с утра до вечера, папа в конце концов поддается влиянию страсти к азартной игре, точно опьяняющими парами поднимающейся из города, и из глубины своей стойчески запертой комнаты начинает спекулировать украшениями своего древнего города, стараясь обога-

таться на делах, начатых тем самым итальянским правительством, которое он обвинял в грабеже и потом внезапно теряет миллионы в колоссальной катастрофе, которой он не предвидел, по которой он должен был желать. Нет, никогда ни один низверженный с трона король не поддавался такому удивительному внушению и не залутывался в трагическое приключение, которое наказывало его точно законная кара. А это не был король, то был ставленник божий, сам бог, непогрешимый в глазах идолопоклонствующего христианства!

Мысли Пьера вернулись к Крепостным лугам и ужасная печаль сжала его сердце при этом последнем воспоминании о стольких страданиях и нищете. Он снова видел отвратительную грязь, в которой кишело столько существ, ужасную социальную несправедливость, осуждающую большинство существ на жизнь отверженных животных, без радостей, без хлеба. И когда взгляды его снова направился к окнам Ватикана и ему показалось, что за этим окном поднимается бледная рука, то он подумал о том папском благословении, которым Лев XIII осеняет с такой вышины Рим, Кампанию, горы и верующих всего христианского мира. И это благословение, внезапно показалось ему смешным и бесильным, потому что вот уже столько веков оно не могло уничтожить ни одного человеческого страдания и не могло даже доставить хотя бы малой доли справедливости тем несчастным, которые умирают в мучениях там внизу, под окном.

IV.

Так как Бенедетта приказала сказать Пьеру, что она желает поговорить с ним, то вечером в сумерки он вышел из своей комнаты и, спустившись вниз, застал ее в гостиной в обществе Челии, с которой она беседовала в свете утешающего дня.

— Ты знаешь, что я видела нашу Пьерину—вскричала девушка как раз в ту минуту, когда он входил.—Да, да и при том в обществе Дарио. Скорее она поджидала его,—он заметил ее в одной из аллей Пинчيو и улыбнулся ей. Я тот час поняла... О! какая красавица!

Бенедетту немножко забавлял ее энтузиазм. Но губы ее принимали несколько скорбное выражение, потому что, несмотря на всю рассудительность, ей начинала причинять страдание эта страсть, в которой она чувствовала столько силы и наивности. Она допускала, что что Дарио может искать наслаждений, в которых она отказывает ему, понимала, что он молод и не может вести монашеской жизни. Но только эта несчастная девушка любит его слишком сильно, и ей становилось страшно при мысли, что Дарио может забыться под влиянием все извиняющего очарования красоты. Поэтому, переменяв тему разговора, она открыла тайну своего сердца.

— Садитесь, господин аббат... Вы видите, мы занимаемся злословием. Моего бедного Дарио обвиняют в том, что он совращает с истинного пути всех римских красавиц... Так, например, рассказывают, что он именно и есть счастливец, дарящий Тониетте букеты белых роз, с которым она уже две недели гуляет по Корсо.

Челия тотчас с оживлением заговорила:

— Но ведь это вполне достоверно, моя дорогая. Сначала были некоторые сомнения, поговаривали о молодом Понтекорво и лейтенанте Моретти. Ты можешь себе представить, какие ходили рассказы... Теперь же все знают, что прельстил Тониетту никто иной, как сам Дарио. Впрочем в Констанции он был у нее в ложе.

— Она производит очень благоприятное, впечатление,—убежденно повторяла Челия с невинным видом девушки, которую интересуют только любовные дела. — При этом она очень красива со своими большими кроткими глазами, конечно, не так красива, как Пьерина, нет. Это невозможно, но все-таки на нее приятно смотреть: она просто ласкает взор.

Бенедетта сделала невольный жест, как будто желая снова отстранить Пьерину. Что же касается Тониетты, то она примирилась с ней, так как знала, что это простое развлечение, минутная ласка, как говорила ее приятельница.

— Ах, — заговорила она, улыбаясь,—мой бедный Дарио разоряется на белые розы. Нужно будет пошутить над ним... Если только развязка нашего дела замедлится, они украдут его у меня, отымут безвозвратно... К счастью, пожалуй, я получила хорошие вести. Да, дело начнется снова, и моя тетка для этого и уехала из дому.

Так как Челия поднялась в ту самую минуту, когда Викторина принесла лампу, то Бенедетта обернулась к Пьеру, который тоже поднялся со своего места, и сказала:

— Оставайтесь, я должна поговорить с вами.

Но Челия все еще медлила, так как ее страстно занимал развод приятельницы, и она хотела знать, в каком положении находится дело и скоро ли наступит свадьба влюбленных. Она страстно поцеловала Бенедетту.

— Так у тебя снова есть надежда и ты думаешь, что святой отец вернет тебе свободу? О! моя дорогая! Как я счастлива за тебя, как это будет мило, когда ты будешь с Дарио... Я с своей стороны очень довольна; я вижу ясно, что отец и мать утомлены моим упорством. Еще вчера я сказала им тем спокойным тоном, который ты хорошо знаешь: «Я хочу, чтобы Аттилио был моим и вы дадите мне его». Тогда отец пришел в ярость, стал осыпать меня проклятиями, угрожал мне кулаком, кричал, что если моя голова так же упряма, как его собственная, то он разобьет ее. Потом он внезапно обернулся к матери, которая сидела молча со скучающим видом, и сказал ей: «Дайте же ей этого Аттилио и

пусть она оставит нас в покое». О, как я довольна, как я довольна.

Пьер и Бенедетта не могли удержаться от смеха при виде этого девственного лица, напоминающего чистую лилию, сияющую невинной небесной радостью. Наконец, она ушла в сопровождении горничной, которая ждала ее в первой гостиной.

Как только они очутились одни, Бенедетта попросила священника сесть.

— Мой друг, мне поручили спешно передать вам совет... Повидимому в Риме ходит молва о вашем присутствии и начинают распространяться самые тревожные слухи. Говорят, что наша книга есть горячий призыв к расколу, что вы сами попросту честолобивый и беспокойный схизматик, который, издав свою книгу в Париже, поспешил приехать в Рим для того, чтобы распространить ее и таким образом устроить страшный скандал... Если вы все еще хотите видеть его святейшество и перед ним защищать свое дело, то вам советуют сделать так, чтобы о вас забыли, совершенно исчезнуть на две или на три недели.

Пьер слушал ее, остоленев от изумления. Его действительно приведут в конце концов в ярость, внушат ему мысль о расколе, о скандале, который даст ему свободу и удовлетворение, если будут преследовать его неудачами, как бы стараясь истощить его терпение. Он хотел ответить протестом, но потом сделал усталый жест. К чему делать это в присутствии этой женщины, которая, конечно, говорит с ним вполне искренно и расположена к нему.

— Кто просил вас передать мне этот совет.

Она ответила только улыбкой. В уме его мелькнула внезапная догадка.

— Это монсеньор Нани, не правда ли.

Тогда, не желая прямо ответить на этот вопрос, она стала с чувством превозносить прелата. Теперь он согласился руководить ею в бесконечном деле уничтожения ее брака. Он долго совещался с ее теткой, донной Серафиной, которая только что отправилась в здание инквизиции, чтобы рассказать ему о пернях, сделанных ею шагах. Отец Лоренцо, духовник тетки и племянницы тоже должен был присутствовать при этом свидании потому, что этот развод был в сущности делом его рук, и он всегда побуждал обеих женщин к разрушению связи, которую создал под влиянием прекрасных иллюзий патристический отец Пизони. Она с оживлением стала говорить об обстоятельствах, дающих ей право надеяться.

— Монсеньор Нани может сделать все и я счастлива, что мое дело попало в его руки... Друг мой, будьте также благодарны, не бунтуйте, покоритесь. Уверю вас, что вам же от этого будет лучше.

Пьер размышлял, низко опустив голову. Рим охватил его, ежечасно удовлетворяя все растущее любопытство и потому для него не было ничего неприятного в мысли о том, что ему придет-

ся пробыть здесь еще две—три недели. Конечно, он чувствовал, что постоянные задержки могут сокрушить его волю, могут утомить его до того, что он выйдет отсюда ослабевшим, разочарованным и бесполезным. Но чего ему бояться, если он поклялся не отказываться ни от одного положения своей книги и видеться со св. отцом только для того, чтобы еще громче подтвердить свою новую веру. Когда он начал извиняться, что причиняет столько хлопот своим пребыванием во дворце, Бенедетта вскричала:

— О нет. Я так рада, что вы у нас. Я не отпущу вас. Теперь, когда счастье снова улыбнулось нам, мне кажется, что ваше присутствие принесет счастье нам всем.

Затем они условились, что он не будет более бродить во-круг собора и Ватикана, так как постоянное присутствие его рясы наверно привлекло внимание. Он обещал ей даже, что целую неделю будет почти совсем не выходить из дворца, так как собирается прочесть кой-какие книги и некоторые страницы истории в самом Риме. Он разговаривал еще несколько минут, чувствуя себя очень хорошо в невозмутимой тишине гостиной, которую лампа освещала сонным светом. Уже пробило 6 часов и на улицах водворилась непроглядная ночь.

— Его высокопреосвященство, кажется, был нездоров сегодня ночью, — спросил он.

— Да, — ответила графиня, — но это ничего, он просто немножко утомлен, — это нисколько не беспокоит нас... Дядя предупредил меня, через дон Виджилио, что запрется в своей комнате, не будет выходить оттуда и будет диктовать ему письма... Вы видите, что здесь нет ничего серьезного.

Снова воцарилось молчание; ни с пустынной улицы, ни из старинного пустого дворца, мертвого и задумчивого, точно могила, не долетал ни один звук. В эту минуту в кротко заснувшую, убаюканную мечтами и сладкими надеждами гостиную кто-то влетел точно вихрь, шумя юбками и задыхаясь от ужаса. Это была Викторина, которая исчезла, принесла лампу, а теперь вернулась задыхаясь, обезумев от ужаса.

— Графиня, графиня...

Бенедетта поднялась, бледная и внезапно похолодевшая, точно чувствуя близость несчастья.

— Что такое. Что такое... Отчего ты так бежишь и дрожишь.

— Дарио, Дарио, там внизу... Я спустилась посмотреть, зажжен ли фонарь под портиком, так как его часто забывают зажигать... И там под портиком, в тени я наткнулась на князя Дарио... Он лежит на земле, его ранили ножом.

Из сердца Бенедетты вырвался отчаянный крик:

— Он умер.

— Нет, нет, ранен.

Но она не слушала и продолжала кричать все громче:

— Умер, умер.

— Да нет же, он говорил со мной. Ради бога, молчите. Он заставил меня замолчать, потому что он не хочет, чтобы кто-нибудь знал; он приказал мне отыскать вас, вас одну, но здесь господин аббат, — он пойдет и поможет нам. Это не лишняя помощь.

Пьер слушал ее тоже с растерянным видом. Когда Викторина хотела взять лампу своей дрожащей рукой, то оказалось, что правая рука у нее вся в крови, так как она, вероятно, оцупывала лежащее на земле тело... Это зрелище произвело на Бенедетту такое ужасное впечатление, что она начала безумно вопить.

— Замолчите. Да замолчите же... Нужно спуститься без всякого шума. Я возьму лампу, чтобы лучше видеть... Скорей, скорей.

Внизу, под портиком, перед входом в вестибюль, лежал на каменных плитах Дарио. Повидимому он получил удар на улице и у него хватило силы лишь настолько, чтобы сделать несколько шагов и свалиться здесь. Он только что потерял сознание и теперь лежал бледный, с судорожно сжатыми губами и закрытыми глазами. Бенедетта, к которой вернулась энергия ее расы, не причитала в припадке горя и не кричала, но смотрела на него расширившимися от ужаса, сухими безумными глазами, повидимому, ничего не понимая. Ужаснее всего была неожиданность этой катастрофы, которая разразилась, как гром, который никто не мог предвидеть, не мог объяснить, почему и как произошло это убийство среди мрачного безмолвия старого пустынного дворца, обаятого ночной тьмой. Из раны, вероятно, текло очень мало крови, потому что только одежда Дарио была облита ею.

— Скорее, скорее... — тихо повторяла Викторина, опустив лампу и вода ею над телом, чтобы лучше дать себе отчет в его положении. — Швейцара нет, он всегда сидит тут рядом у стола и зубоскалит с его женой... вы видите, что он не зажег фонаря, но он может вернуться... Мы с господином аббатом снесем князя в его комнату.

Она одна вполне сохранила присутствие духа, как женщина с душевным равновесием и спокойной энергией. Бенедетта и Пьер стояли в ошеломлении и слушали ее, не произнося ни слова и повинувшись ей точно дети.

— Графиня, вы должны посветить. Вот возьмите лампу и опустите ее немного, чтобы видны были ступеньки... А вы, господин аббат, берите князя за ноги. Я возьму его под руки. Не бойтесь, он бедняжка совсем не тяжел.

Ах! Этот подъем по широким ступенькам монументальной лестницы с огромными, точно фехтовальная зала площадками. Это, правда, облегчало ужасную переноску, но зато какое мрачное впечатление производил этот кортеж, освещенный колеблющимся светом лампы, которую держала Бенедетта застывшей и вытянутой усилием воли рукой. Кругом ни звука, ни дыхания в этом старинном мертвом жилище, в котором слышалось лишь по-

степенное разрушение стен, медленная работа, от которой трещали потолки. Викторина продолжала шопотом командовать, а Пьер все время боялся поскользнуться на сверкающих камнях и, задыхаясь, напрягал все силы. Большие тени скользили по столбам и огромным обнаженным стенам вплоть до украшенных кессонами высоких сводов. Пришлось остановиться, потому что этот этаж показался им бесконечным. Потом снова начался медленный подъем.

— К счастью, квартира Дарио, состоящая из спальни, уборной и гостиной, находилась в первом этаже, рядом с квартирой кардинала, в том флигеле, который выходил на Тибр. Им оставалось только пройти по коридору, ступая как можно тише, и, наконец, они с чувством облегчения уложили раненого в кровать.

Викторина засмеялась с чувством удовлетворения.

— Конечно... Теперь, графиня, поставьте лампу. Вот сюда, на этот стол... Я ручаюсь вам, что никто не слышал нас, — тем более, что к нашему счастью донна Серафина ушла, а его высокопреосвященство заперся с донном Вижилио... Я обернула плечи своею юбкой, так что ни одна капля крови не могла упасть на пол, а теперь я сама пойду смою следы крови там, внизу.

Она остановилась, подошла к Дарио и, взглянув на него, с живостью сказала:

— Он дышит... Теперь я оставлю вас стеречь его, а сама побегу за доктором Джиордано. Он был здесь, когда вы родились, графиня, — на него можно положиться.

Оставшись наедине перед лежащим без чувств раненым, в полутемной комнате, в которой, казалось, тлежал переживаемый им ужасный кошмар, Бенедетта и Пьер долго стояли по краям кровати, не зная, что сказать. Она ломала себе руки с глухим стоном, чувствуя потребность выразить свое горе, дать ему исход. Потом она нагнулась, жадно отыскивая признаки жизни на этом бледном лице с закрытыми глазами. Дарио действительно дышал, но медленно, едва заметно. Однако, легкий румянец появился на его щеках и, наконец, он открыл глаза.

Бенедетта тотчас взяла его за руку и пожала ее, как бы давая исход волнению сердца. Как она была счастлива, когда почувствовала, что он отвечает ей слабымжатием.

— Скажи, ты видишь меня... слышишь меня... Что с тобой случилось, боже мой.

Но он, не отвечая на ее вопросы, заволновался, заметив присутствие Пьера. Узнавши его, он как будто примирился с этим, только все время со страхом оглядывал комнату, как бы желая убедиться, нет ли в ней еще кого-нибудь; наконец, он пробормотал:

— Никто не видел. Никто не знает.

— Нет, нет, успокойся. Мы принесли тебя с помощью Викторины, не встретив живой души. Тетя ушла, а дядя заперся у себя.

Тогда он утешился и даже улыбнулся.

— Я хочу, чтобы никто не знал, это так глупо.

— Что же случилось, боже мой, — снова спросила она.

— Ах, я не знаю, я не знаю...

Он с усталым видом опустил веки, точно стараясь избежать этого вопроса. Потом он, очевидно, понял, что лучше сразу сказать часть истины.

— Какой-то человек, спрятавшийся в сумерки в тени портика и, повидимому, ожидавший меня... Вероятно, когда я возвращался, он всадил мне нож в плечо.

Она, вся трепеща, наклонилась еще больше и, заглядывая ему прямо в глаза, спросила:

— Но кто же это, кто этот человек.

Когда Дарио стал бормотать все более усталым голосом, что он не знает, что этот человек убежал во мрак и он не мог узнать его, Бенедетта вдруг вскричала ужасным голосом:

— Это Прада. Это Прада... Скажи, я ведь уже знаю.

Она была вне себя.

— Я это знаю, слышишь. Я не принадлежала ему, он не хочет, чтобы мы принадлежали друг другу и предпочтет убить тебя в тот день, когда я буду в состоянии отдаться тебе. Я хорошо знаю его и никогда не буду счастлива... Это Прада, это Прада.

Но к раненому внезапно вернулась энергия, и он стал решительно протестовать.

— Нет, нет. Это не Прада, и человек этот не действовал в его интересах... Я клянусь тебе в этом. Я не узнал этого человека, но это не Прада, нет, нет.

В голосе Дарио звучала такая искренность, что Бенедетта убедилась. Впрочем, ею снова овладел ужас, когда она почувствовала, что рука его бессильно опускается в ее руке, становится безжизненной и влажной, точно она застывала. Утомленный усилиями, Дарио откинулся назад, лицо его снова побледнело, глаза закрылись и он потерял сознание. Можно было подумать, что он умирает.

Потеряв голову, Бенедетта ощупывала его неуверенными руками.

— Господин аббат, посмотрите же... Но ведь он умирает. Умирает. Вот он совсем похолодел... Ах! Боже мой, он умирает.

Пьер, которого ужасно волновал ее крик, старался успокоить ее.

— Он говорил слишком много, он потерял сознание точно так же, как недавно... Уверю вас, что я чувствую биение его сердца. Вот, положите свою руку... Ради бога, не отчаивайтесь, врач скоро придет и все пойдет хорошо.

Но она не слушала его и Пьеру пришлось присутствовать при необычайной, поразившей его сцене. Бенедетта неожиданно бросилась на тело любимого человека, стала безумно обнимать

его, покрывая поцелуями, обливая слезами и бормоча страстные слова:

— Неужели я лилусь тебя, ах. Неужели я лилусь тебя... И я не отдалась тебе, я была так глупа, что оттолкнула тебя, когда еще было время вкусить счастье... Да, да, это была мысль о мадонне, мысль о том, что девственность ей угодна, нужно сохранить девственность для мужа, если хочешь, чтобы она благословила брак... Но какой мог ей быть вред, если бы мы стали тотчас счастливы. И кроме того, видишь ли, если она обманула меня, если она возьмет тебя прежде, чем мы могли бы спать в объятиях друг у друга, то я буду жалеть только об одном: о том, что не проклята вместе с тобой... Да, лучше проклятие, чем сознание, что мы не обладали друг другом всей нашей кровью, нашими страстными поцелуями...

Неужели это та спокойная и рассудительная женщина, которая терпеливо ждала, чтобы получить устроить свою жизнь. Пьер в ужасе не узнавал ее. До сих пор он видел ее такой сдержанной, полной естественной стыдливости, детская очаровательность которой, казалось, вытекала из самой природы ее. Конечно, под влиянием угрожающей опасности и страха в ней забушевала ужасная кровь рода Бокканера, проснулись наследственная страстность, гордость, отчаянные и ничем не сдержимые безумные желания. Она хотела получить свою долю жизни, свою долю любви. И она стонала и кричала, как будто смерть, отнимая у нее любимого человека, вырывала у нее кусок тела.

— Умоляю вас, графиня, — повторял священник, — успокойтесь... Он жив, сердце его бьется... Вы сами вредите себе.

Но она хотела умереть вместе с Дарно.

— О, мой дорогой. Если ты уходишь, возьми меня, возьми меня с собой... Я лягу на твоём сердце и обйму тебя так сильно своими руками, что они войдут в твоё тело и нас похоронят вместе... Да, да, мы будем мертвы и все-таки будем мужем и женой, я обещала тебе быть только твоей и я буду твоей во что бы то ни стало, даже в земле, если это нужно... О, мой дорогой, открой глаза, открой рот, поцелуй меня, если ты не хочешь, чтобы я умерла, когда ты умрешь.

По мрачной комнате со старыми уснувшими стенами пронёсся взрыв дикой страсти, огня и крови. Но слезы наполнили глаза Бенедетты, рыдания душили ее и она, обессилев, упала на край кровати. К счастью доктор, приведенный Викториной, положил конец дикой сцене.

Доктору Джиордано было больше шестидесяти лет; это был маленький старичок с белыми кудрями, с выбритым свежим лицом. Вся отеческая фигура его напоминала любезного прелата, благодаря постоянному общению с клиентами из духовных. О нем говорили, что он прекрасный человек, даром лечит бедных и особенно отличался сдержанностью и скромностью в щекотливых случаях. В течение тридцати лет все Бокканера: дети, женщины,

даже его высокопреосвященство, сам кардинал проходили через его осторожные руки.

Викторина светила, а он с помощью Пьера осторожно раздел Дарио, которого боль вызвала из бессознательного состояния, исследовал рану и потом с улыбкой заявил, что в ней нет ничего опасного. По его мнению, это был пустяк, в крайнем случае нужно будет полежать в постели недели три, но лечебного бояться каких-либо осложнений. Подобно всем врачам в Риме, он был любителем ловких ударов ножом, которые ему приходилось наблюдать каждый день среди клиентов из простонародья. Теперь он с интересом присматривался к ране как знаток и, вероятно, заключил, что удар был нанесен мастерски, потому что в конце концов вполголоса сказал князю:

— Мы называем это предостережением... Этот человек не хотел убить вас, — удар был нанесен сверху вниз так, чтобы клинок скользнул в теле, не задевая кости... Да, это недурной удар, для этого нужно быть ловким малым.

— Да, да... — пробормотал Дарио, — он пощадил меня, ведь он мог проколоть меня насквозь.

Бенедетта не слыхала ничего. С тех пор, как доктор заявил, что опасности нет и что слабость и обморок были лишь последствиями сильного нервного потрясения, она упала на стул и сидела в состоянии полного оцепенения. Это был неизбежный результат ужасного припадка отчаяния. Медленные, кроткие слезы начинали катиться из ее глаз, она встала и поцеловала Дарио в порыве страстной и немой нежности.

— Скажите же, мой добрый доктор, — начал последний, — не правда ли, совершенно нет надобности кому-нибудь знать об этом. Это такое глупое приключение... Кажется, никто не видел, за исключением господина аббата, которого я прошу сохранить тайну... А главное, не правда ли, чтобы никто не беспокоил ни кардинала, ни тетку, ни, наконец, кого-либо из друзей дома.

Доктор Джордано улыбнулся свойственной ему спокойной улыбкой.

— Хорошо, хорошо. Это вполне естественно, не беспокойтесь... Для всего мира вы упали на лестнице и свихнули себе плечо... Теперь ваша рана перевязана, старайтесь спать без жара. Я вернусь завтра утром.

Тогда медленно потянулись спокойные дни и для Пьера началась новая жизнь. Первое время он совершенно не выходил из старинного сонного дворца; он читал, писал и его единственным развлечением было то послеобеденное время, которое он просиживал вплоть до сумерек в комнате Дарио, где он был уверен, что найдет Бенедетту. После 48-часового довольно сильного жара, выздоровление пошло обычным путем и все сложилось к лучшему; все поверили рассказу о вывихнутом плече до такой степени, что кардинал потребовал от строго экономной донны Серафины,

чтобы, во избежание подобных случаев, на будущее время на площадке зажигали второй фонарь. Среди этого монотонного спокойствия случилось лишь одно потрясение или скорее, угроза, в которую был замешан и Пьер, однажды вечером сидевший около больного.

Когда Бенедетта ушла на несколько минут, Викторина, которая только что принесла суп, нагнулась над князем и, убирая чашку, тихо шепнула ему:

— Барин, там эта девушка, которую вы знаете, Пьерина, каждый день приходит и с плачем спрашивает о вашем здоровье... Я не могу прогнать ее, потому что она ходит все время и предпочитаю предупредить вас.

Пьер совершенно невольно услышал все это: внезапно все стало ему ясно и он понял. Смотревший на него Дарио сообразил, что он думает; поэтому вместо того, чтобы отвечать Викторине, он сказал:

— Да, да, господин аббат, это тот грубиян Тито... Ну, скажите сами, не глупо ли это.

Хотя он и защищался, утверждая, что ничем не заслужил предостережения брата, который хотел дать ему понять, чтобы он не трогал сестры, однако, он при этом смущенно улыбался, чувствуя скуку и стыд, что запутался в подобную историю. Повидимому, он очень утешился, услышав обещание священника, что он увидится с девушкой, если она вернется, и даст ей понять, что ей лучше будет сидеть дома.

— Глупая, глупая история, — повторял князь, преувеличивая свой гнев, как бы смеясь над самим собой. — Право, все это точно из другого века.

Он внезапно замолчал; в комнату вернулась Бенедетта. Она подошла и села около своего дорогого больного. И в уснувшей комнате, среди старинного мертвого дворца, в котором не слышно было ни звука, началась тихая беседа.

Когда Пьер снова начал выходить, он сначала не решался прогуливаться за пределами квартала, чтобы подышать свежим воздухом.

Впрочем, ему страстно нравился весь квартал этот, древний и прекрасный, впавший в забвение квартал, устраненный от современной жизни и дышащий затхлым запахом — бледным и слабым запахом клерикализма.

Здесь-то Пьер встретил однажды утром Пьерину, стоявшую за одним из деревянных барачков, в которых когда-то помещались орудия. Вытянув голову, она упорно всматривалась, быть может, уже много часов в окно комнаты Дарио, которое находилось на углу переулочка и набережной. Напуганная суровым приемом Викторины, она не решалась пройти во дворец и там спросить о здоровье, но приходила сюда, проводила здесь целые дни, очевидно узнавши от кого-нибудь из слуг, где находится окно больного, и

без устали ожидая чьего-нибудь появления, признака жизни или спасения, потому что сердце ее билось одной этой надеждой. Священник приблизился, бесконечно тронутый тем, что она так скрывается и, несмотря на свою царственную красоту, смиренно дрожит от обожания. Вместо того, чтобы выбрать и прогнать ее, как ему было поручено, он обошелся с ней очень кротко и ласково, заговорил с ней об ее домашних таким тоном, точно ничего не случилось, и умышленно повел разговор так, чтобы упомянуть имя князя и дать ей понять, что через две недели он встанет на ноги. Сначала она вскочила с диким недоверием и уже хотела убежать, но потом поняла и слезы показались на ее глазах; она засмеялась счастливым смехом, послала ему воздушный поцелуй со словами: «Спасибо, спасибо» и убежала. С тех пор он больше не видел ее.

В одно утро Пьер, отправляясь отслужить свою обедню в церкви св. Бригитты, на площади Фарнезе, с удивлением встретил Бенедетту, вышедшей из этой церкви в такой ранний час с крошечным пузырьком масла в руках. Она без всякого смущения рассказала ему, что через каждые два—три дня она приходит к церковному служителю за несколькими каплями масла, горящего в лампаде перед старинной деревянной статуей мадонны, которой она безусловно верила. Она призналась даже, что верит только в эту одну, потому что ничего не получала, когда обращалась к другим мадоннам, очень известным, сделанным из мрамора и даже серебра. Поэтому вся пылкая набожность, которой горело ее сердце, была направлена на это святое изображение, не отказывавшее ей ни в чем. И она прибавила совершенно просто, как нечто не подлежащее сомнению, что именно эти несколько капель масла, которыми она по утрам и по вечерам натирала рану Дарио, вызывали столь быстрое, почти чудесное выздоровление его. Пьер был поражен и в то же время опечален детской набожностью этого чудного существа, полного благоразумия, грации и страсти, но не позволил себе даже улыбнуться.

Каждый вечер, когда он возвращался с прогулки, заходил провести час—другой в комнате выздоравливающего Дарио. Бенедетта просила его сказать, как он провел день, чтобы развлечь больного, — и в этой душной и невозмутимо спокойной атмосфере комнаты его удивление и волнение, нередко даже гнев, принимали оттенок какой-то печальной прелести. Когда же он решился опять выходить за пределы квартала и воспыал нежностью к римским садам, куда отправлялся тотчас после открытия ворот, чтобы не встретить никого, он стал рассказывать им о своем энтузиазме, о восторженной любви к прекрасным деревьям, к струящейся воде, к террасам, которые тянулись вдоль величественного горизонта.

Все сады, о которых вечером рассказывал с таким восторгом Пьер, вызывали в уме Дарио и Бенедетты сады виллы Монтефиори, ныне уничтоженной, а прежде такой зеленой, засаженной

прекраснейшими в Риме апельсиновыми деревьями, целым лесом столетних деревьев, в котором они научились любить друг друга.

— Ах, я помню, — говорила графиня, — когда цвели цветы, там стоял такой сильный опьяняющий аромат, что раз я не могла подняться с травы... Помнишь, Дарио. Ты взял меня на руки и отнес к фонтану, где было так хорошо и свежо.

Она по обыкновению сидела на краю кровати, держа в своих руках руку больного, который начал улыбаться.

— Да, да, я целовал твои глаза и, наконец, ты открыла их... В то время ты была менее жестока по отношению ко мне и позволяла целовать твои глаза, сколько я хотел... Но мы были детьми, и если бы мы не были ими, то стали бы мужем и женою в этом большом саду, где был такой сильный аромат и где мы бегали совершенно свободно.

Она утвердительно покачала головой, убежденная, что только мадонна охраняла их.

— Это правда, это правда... И какое счастье, что теперь нам можно будет принадлежать друг другу, не вызывая слез у ангелов.

Разговор постоянно переходил на эту тему, так как дело об уничтожении брака с каждым днем принимало все более благоприятный оборот, и Пьеру каждый вечер приходилось видеть их восторг, слушать их разговоры о предстоящем сочетании, об их планах, видеть любовников, перед которыми открывается блаженство. Под руководством всемогущей руки донна Серафина, вероятно, очень энергично вела дело, потому что не проходило ни одного дня, чтобы она не сообщала какого-нибудь благоприятного известия.

И Пьер, которому приходилось каждый вечер смотреть на нетерпеливую любовь и тревожную радость Бенедетты и Дарио, в конце концов стал принимать страстное участие в их судьбе и желать возможно быстрой развязки. Дело должно было снова разбираться перед судом инквизиции, первое решение которой в пользу развода было уничтожено тем обстоятельством, что монсеньор Пальма воспользовался своим правом и потребовал дополнительного следствия. Впрочем, этот первый приговор, постановленный большинством лишь одного голоса, несомненно, не получил бы утверждения св. отца. Вообще все дело сводилось к тому, чтобы заручиться голосами десяти кардиналов, из которых состояла конгрегация, убедить их и добиться единогласного решения. Это было дело нелегкое, потому что родство Бенедетты с дядей кардиналом значительно осложняло положение, хотя, по видимому, должно было облегчать его, но здесь были замешаны сложные ватиканские интриги соперников, направленные к тому, чтобы, затягивая скандал, лишить кардинала возможности стать в будущем папой.

Но больше всего пугал их этот ужасный человек — монсеньор Пальма, официальный адвокат, назначенный конгрега-

цией для защиты священных уз брака. Ему были даны почти неограниченные права, он мог еще раз воспользоваться ими и во всяком случае затягивать дело, насколько ему было угодно. У монсиньора Пальма, теолога, опытного в канонических делах и безусловно честного, было в жизни большое горе. У него была красавица племянница, которую он в старости безумно полюбил и для избежания скандала принужден был выдать замуж за какого-то негодяя. Этот последний обирал ее и бил. С внешней стороны все было прилично, но как раз теперь прелату приходилось переживать критический момент. Он был измучен постоянным обирательством и у него не было денег для того, чтобы выкупить своего племянника, который попался в шулерстве. Все дело состояло именно в том, чтобы спасти молодого человека, заплатить его долги и подыскать ему место, не требуя ничего от дяди, который однажды, поздно, со слезами на глазах пришел поблагодарить донну Серафину и тем как бы подтвердил свое участие в этом деле.

В этот вечер Пьер сидел с Дарио, как вдруг вбежала Бенедетта, радостно хлопая в ладоши.

— Дело сделано, дело сделано. Монсиньор Пальма только что ушел от тетки, поклявшись ей в вечной признательности. Теперь-то он принужден быть любезным.

Но Дарио был более недоверчив и спросил:

— Но заставили ли его подписать что-нибудь. Дал ли он формальное обязательство.

— Ну, нет. Подумай сам, это такое щекотливое дело... Все уверяют, что он очень честный человек.

Несмотря на эти слова, в душе ее зародилось беспокойство.

— Я не сказала тебе еще, — продолжала Бенедетта после некоторого молчания, — что я решилась на этот знаменитый осмотр и сегодня вместе с тетушкой была у докторов.

Она снова начала улыбаться, повидимому, не чувствуя никакого смущения.

— Ну, что же, — спросил он таким же спокойным тоном.

— Ну, что же, — они увидели, что я говорила правду и составили мне какое-то удостоверение на латинском языке... Говорят, это необходимо для того, чтобы монсиньор Пальма мог отказать от того, что он раньше говорил.

Потом, обращаясь к Пьеру, она продолжала:

— Ах, уж эта латынь... Я все-таки хотела бы, господин аббат, знать и думала, что вы будете так любезны, переведете мне это... Но моя тетка не оставила мне этих бумаг, потому что тотчас приобщила их к делу.

Смущенный священник ответил неопределенным движением головы, так как ему было хорошо известно, что подобные удостоверения содержат ясное и подробное описание в точных выражениях со всеми подробностями состояния, формы и цвета. Конечно, это исследование совершенно не вызывало в них чувства

стыдливости, так как оно казалось им вполне естественным и даже желательным и от него зависело счастье всей их жизни.

— Итак, — закончила Бенедетта, — будем надеяться на благодарность монсиньора Пальма, а пока, мой Дарио, выздоравливай поскорей к желанному дню нашего счастья.

Последний имел неосторожность подняться слишком рано; рана его открылась, и это заставило его еще несколько дней пролежать в кровати. Пьер продолжал приходить по вечерам и развлекать его рассказами о своих прогулках. Он становился все смелее, расхаживал по всем кварталам Рима и с восторгом делал открытия классических достопримечательностей, уже записанных во всех путеводителях.

Однажды, вечером, посетив Кампо Верано, огромное римское кладбище, Пьер застал возле кровати Дарио Челию в обществе Бенедетты.

— Как, господин аббат, — вскричала маленькая княжна, — неужели вам приятно посещать мертвых.

— Ах, эти французы, — сказал Дарио, которого оскорбляла одна мысль о кладбище, — эти французы. Они отравляют себе радости жизни своей любовью к печальным зрелищам.

— Но ведь, — возразил мягко Пьер, — нельзя избежать действительности смерти. Самое лучшее смотреть ей прямо в глаза. Князь неожиданно рассердился.

— Действительность, действительность. Но к чему. Когда действительность некрасива, то я не смотрю на нее и стараюсь никогда не думать о ней.

Несмотря на это, священник продолжал, спокойно улыбаясь, рассказывать о том, что поразило его, о прекрасной внешности кладбища, о праздничном виде, который придает ему яркое осеннее солнце, об изобилии мрамора, о мраморных статуях, стоящих на могилах, о мраморных памятниках.

Сидевшая молча Бенедетта заметила неудовольствие Дарио и, перебивая Пьера, обратилась к Челии:

— Ну, что же, охота была интересна?

В ту минуту, когда вошел Пьер, маленькая княжна рассказывала об охоте на лисиц, на которую возила ее с собою мать.

— Ах да, милая, ужасно интересно. Было решено собраться в час около гробницы Цецилии Метеллы, где в палатке устроили бужет. Там собралось множество народа, иностранная колония, молодые люди из посольств, офицеры, не считая, конечно, нас. Все мужчины были в красных костюмах, женщины в амазонках... Отправились в половине второго и галоп длился более двух часов, так что лисица была настигнута очень далеко, очень далеко. Я не могла следовать за ними, но видела все. О, это было нечто необычайное, всем охотникам пришлось прыгать через большую стену, потом через рвы, заборы, — одним словом, безумная скачка вслед за собаками... Было два несчастных случая, но не тяжелых: один господин вывихнул себе руку, а другой сломал ногу.

Дарио слушал со страстным участием, потому что эти охоты на лисиц составляют величайшее наслаждение римского общества; сперва скачка по плоской и, несмотря на это, усеянной препятствиями римской Кампаньи, потом заботы о том, чтобы перехитрить лисицу, за которой гонятся собаки, ее увертки, нередко совершенное исчезновение, наконец, поимка, когда она падет от усталости; при этом охота ведется без ружья для того только, чтобы иметь возможность бежать за хвостом этого животного, опередить его и поймать.

— Ах,—сказал он с отчаянием в голосе,—не глупо ли быть прикованным к этой комнате. Я в конце концов умру здесь со скуки.

Бенедетта ограничилась улыбкой, не отвечая ни упреком, ни выражением печали на этот наивный взрыв эгоизма. А она была так счастлива, что он теперь принадлежит ей в этой комнате, в которой она ухаживала за ним. Но к ее юной и в то же время благоразумной любви примешивалось какое-то материнское чувство; она прекрасно понимала, что ему невесело без обычных удовольствий, без друзей, которых он не принимал из опасения, что история с вывихнутым плечом может показаться подозрительной.

Челия, которая любила передавать ему разного рода невинные слухи, после непродолжительного молчания, устремила на него свои чистые, глубокие глаза загадочной девицы и сказала:

— Однако, какая это длинная история вывиха плеча.

Неужели этот ребенок, весь поглощенный любовью, угадал в чем дело. Дарио смущенно повернулся к Бенедетте, которая продолжала спокойно улыбаться. Но маленькая княжна уже перешла на другой предмет.

— Ах! Вы знаете, Дарио, я видала на Корсо одну даму...

Она остановилась, сама изумленная и смущенная этим известием, которое вырвалось у нее. Потом она отважно продолжала, как подруга детства, знающая все мелкие тайны влюбленных.

— Да, да, одна красивая особа, которую вы хорошо знаете. У нее, однако, был букет белых роз.

На этот раз Бенедетта искренно засмеялась и сам Дарио стал смеяться, глядя на нее. В первые дни она шутила обращаясь к нему с вопросом, почему это одна дама не присылает спросить о его здоровье. Его в сущности несколько обрадовал даже этот естественный разрыв, потому что связь начинала тяготить его; так что, хотя его тщеславие красивого мужчины было несколько задето, но он все же с удовольствием узнал, что Тониетта уже нашла ему заместителя.

— Ах,—сказал он,—отсутствующие всегда неправы.

— Любимый человек никогда не бывает отсутствующим,—заявила Челия со свойственным ей серьезным и невинным видом

Но Бенедетта поднялась для того, чтобы поправить подушки за спиной больного.

— Да, да, мой Дарио, все невзгоды кончены и я сохраню тебя для себя и тебе придется любить только меня одну.

Он посмотрел на нее страстным взглядом и поцеловал ее волосы. Она говорила правду: он любил только ее одну; она не ошиблась и тогда, когда рассчитывала сохранить его для себя одной, как только она станет принадлежать ему. Ухаживая за ним в этой комнате, она с радостью видела, что он остался таким же ребенком, каким она любила его когда-то под деревьями виллы Монтефиори.

Челия поднялась и стала прощаться.

— До свидания, моя дорогая. Скоро будет свадьба, не правда ли, Дарио... Вы знаете, что я хочу обручиться раньше конца этого месяца, да, да. И я заставлю отца устроить великолепный вечер... Ах, как бы это было мило, если бы обе свадьбы могли состояться в одно и то же время.

Лишь спустя два дня после прогулки по Транстеверу и затем посещения дворца Фарнезе, Пьер почувствовал, что теперь в душе его резюмируется печальная и страшная истина относительно Рима. Он уже несколько раз бродил по Транстеверу, жалкое население которого пробуждало в нем страстное участие к бедным и страждущим. Ах, эта клоака нищеты и невежества. В Париже он видел ужасные уголки предместий, целые города ужаса, где человечество гнило на одной куче. Но все это было ничто по сравнению с этим болотом беспечности и грязи. В самые прекрасные дни в этой солнечной стране сырой мрак царил на неровных темных улочках, напоминающих подземные коридоры; при этом всюду отвратительное зловоние, от которого начинало тошнить; это был запах прокисших овощей, прогорклого жира, людского стада, скученного здесь среди собственных нечистот. Здесь стояли старые, неправильно построенные хижины в хаотическом беспорядке, который так любят романистские художники, с черными, зияющими дверьми, открывающимися в подвалы, с наружными лестницами, ведущими на верхние этажи, с деревянными балконами, которые точно чудом висели в воздухе. Повсюду виднелись полуразрушенные фасады, которые нужно было поддерживать при помощи подпорок и грязные жилища, сквозь лишенные окна которых виднелась ничем неприкрытая грязь; мелкие лавчонки под открытым небом; целые кухни ленивого люда, который никогда не зажигал огня: торгующая жареным мясом, в котором продавались куски поленты и рыба, плавающая в вонючем масле, торговцы вареньями, овощами, выставяющие напоказ огромную репу, связки сельдерея, цветной капусты, застывшего и сытного шпината. Плохо порезанное мясо уже почернело, сгустки крови висели на синеватых, точно оторванных шеях животных. У булочников на досках были разложены караваи хлеба, точно круглые камни; у жалких

торговок фруктами не было ничего, кроме индийского перца и сосновых шишек, выставленных в дверях, обвешанных высушенными и нанизанными на нитку баклажанами. Единственные привлекательные лавчонки принадлежали колбасным торговцам; резкий запах колбас и сыра несколько заглушал зловоние канав. Лотерейные конторы, с выставленными номерами выигрышных билетов, перемежались с кабаками, которые встречались через каждые 30 шагов; на вывесках их огромными буквами написаны были названия отборных вин римских дворцов, Джензана, Марино, Фраскати. На улицах квартала суетилась оборванная, грязная толпа, банды полунагих, изъеденных насекомыми детей, кричащие и жестикулирующие женщины с распущенными волосами, в цветных юбках и кофтах, старики, неподвижно сидящие на скамейках и окруженные подвижной тучей мух,—одним словом, вся праздная и в то же время кипучая жизнь среди постоянного движения маленьких ослов, везущих тележки, продавцов птиц, бичами гоняющих стада индеек, и нескольких беспокойных туристов, на которых тотчас обрушились целые шайки нищих.

Пьера особенно взволновали два друг за другом следовавшие посещения: Транстевера и дворца Фарнезе. Они поясняли друг друга и в конце концов приводили к выводу, который еще ни разу не возникал в его уме с такой ужасной отчетливостью: здесь еще нет народа, а скоро не будет и аристократии. Мысль эта стала преследовать его, точно мысль о конце мира. Он видел, что этот народ так жалок, полон такого невежества и покорности судьбе вследствие своей незрелости, в которой его держали история и климат, что нужно много лет воспитания и образования для того, чтобы создать сильную, здоровую и трудолюбивую демократию, сознающую свои права и обязанности. Аристократия близилась к смерти в глубине своих разрушающихся дворцов; она представляла из себя истощенную, ослабевшую породу, с такой примесью американской, австрийской, польской и испанской крови, что чистая римская кровь представляла редкое исключение; кроме того, она перестала быть мечом церкви, в то же время отказываясь служить конституционной Италии и уходя из рядов священной Коллегии, в которой лишь выскочки добивались пурпура. И между этим мелким людом внизу и властью имущими наверху не было еще прочно устроившейся буржуазии, сильной притоком новых сил, достаточно образованной и благоразумной для того, чтобы стать временной воспитательницей нации. Какое ужасное положение. Впереди предстоит конец мира. При этом нет еще народа, уже нет аристократии, а появилась алчная буржуазия, отыскивающая себе добычу среди развалин. Каким ужасным символом являются эти новые дворцы, построенные по образцу прежних дворцов, эти роскошные огромные дворцы, возникшие для сотен тысяч тщетно ожидаемых жителей, роскошные дворцы, в которых должно было поместиться растущее богатство, торжествующая

роскошь новой столицы мира и которые теперь стали жалкими, грязными и уже разрушающимися убежищами для нищеты, для всех нищих и бродяг.

...Когда Пьер, прежде чем отправиться к себе, зашел посидеть в комнату Дарио, он застал там Викторину, которая приготавлила необходимое на ночь и услышавши, откуда он пришел, воскликнула:

— Как, господин аббат, вы гуляли по набережной в этот час. Вы, очевидно, тоже хотите получить удар ножом... Ну, ну, я не стала бы искать так поздно свежего воздуха в этом проклятом городе.

Потом, фамильярно обращаясь к князю, который, улыбаясь, вытянулся в кресле, она прибавила:

— Вы знаете, эта девушка, Пьерина, уже не приходит, но я видела, как она бродила там среди развалин.

Дарио сделал жест, чтобы она замолчала, и обратился к священнику:

— Вы все-таки говорили с ней. Это, наконец, нелепо... Я вовсе не хочу, чтобы эта скотина Тито всадил мне нож в другое плечо.

Он вдруг замолчал, заметив перед собой Бенедетту, которая вошла без шума, чтобы пожелать ему доброй ночи, и теперь стояла в ожидании. Он ужасно смутился, хотел говорить, оправдаться, покланяться ей, что он совершенно невиновен в этом деле. Но она ограничилась улыбкой и нежно сказала ему:

— Мой милый Дарио, я прекрасно знала всю эту историю. Неужели ты считаешь меня настолько глупой, что я не размышляю и ничего не могу понять... Если я перестала спрашивать, то только потому, что все знала и все-таки любила тебя.

Она была очень счастлива, так как в этот самый вечер узнала, что монсиньор Пальма, защитник брака в деле ее развода, написал доклад, благоприятный ее делу. Это вовсе не значило, что прелат высказался вполне в ее пользу, так как он не хотел слишком резко противоречить самому себе; но свидетельства врачей дали ему возможность заключить о несомненной девственности; затем вскользь упомянув о том, что несущественное браку произошло вследствие неповиновения, он ловко сгруппировал несколько фактов, которые неминуемо вели к уничтожению брака. Так как всякая надежда на сближение была потеряна, то возникала опасность, что супруги могут начать невоздержанную жизнь. Он делал тонкий намек на мужа, указывая на то, что он уже подвергался этой опасности; потом восхвалял высокую нравственность жены, ее набожность и все остальные добродетели, составляющие гарантию правдивости ее показаний. Не высказывая своего мнения, он предоставлял дело на мудрое усмотрение конгрегации. Но так как монсиньор Пальма почти повторял все аргументы адвоката Морано, а Прада упорно отказывался явиться в суд, то не подлежало сомнению,

что конгрегация значительным большинством решит уничтожить брак, и это даст св. отцу возможность поступить согласно желанию Бенедетты.

— Ах, мой Дарио, наконец-то наши огорчения близятся к концу. Но сколько денег, сколько денег. Тетка говорит, что нам останется от них только на хлеб и воду.

И она смеялась с очаровательной беззаботностью страстно любящей женщины. Дело не в том, чтобы делопроизводство конгрегации было разорительно, потому что в принципе все дела велись там безвозмездно, но только требовалось множество мелких расходов: нужно было платить мелким служащим, за медицинское освидетельствование, за переписку, доклады и защитительные речи. Кроме того, хотя, конечно, не могло быть и речи о том, чтобы непосредственно подкупать кардиналов, но голоса многих из них покупались за крупные суммы через посредство всевозможных личностей, окружающих их преосвященства, не говоря уже о том, что тактично сделанные денежные подарки нередко играют в Ватикане очень решительную роль и устраняют крупнейшие затруднения.

— Не правда ли, мой милый Дарио, раз ты уже выздоровел, то пусть нам поскорее позволят повенчаться, и это все, что нам от них нужно... Я отдам им еще, если они захотят, мой жемчуг,—единственное состояние, которое у меня есть.

Он тоже смеялся, потому что деньги никогда не имели значения в его жизни. У него никогда не было их достаточно, он просто надеялся всегда жить у дяди-кардинала, который, конечно, не оставит молодой четы на улице. При их разорении сто—двести тысяч не имели для него никакого значения, а он слышал нередко, что некоторые разводы стоили до пятисот тысяч франков. Поэтому он ответил Бенедетте шуткой:

— Отдай им также мое кольцо, отдай им все, моя дорогая, и мы будем жить счастливо в глубине этого старого дворца, хотя бы нам пришлось даже распродать мебель.

Она пришла в восторг, обняла его голову и в порыве страсти стала безумно целовать его глаза.

Потом, обращаясь к Пьеру, она внезапно сказала:

— Ах,—виновата, господин аббат. У меня к вам есть поручение. Монсиньор Нани, сообщивший нам добрую весть, поручил мне передать вам, что вы слишком держитесь в тени, что вам следовало бы начать защиту своей книги.

Священник слушал ее с изумлением.

— Но ведь он советовал мне исчезнуть.

— Конечно... Но только, кажется, пришло время видаться с людьми, защищать свое дело и вообще двигаться. Да кроме того, ему удалось узнать фамилию докладчика, которому поручено изучить вашу книгу. Это монсиньор Форнаро, живущий на Навонской площади.

Пьер почувствовал, что изумление его увеличивается. Ведь никогда не было принято говорить фамилию докладчика, она оставалась в тайне, чтобы оберегать ему полную свободу изъяснений. Может быть, теперь начнется новый период его пребывания в Риме. Он просто ответил:

— Хорошо, я начну действовать и повидаясь с кем нужно

